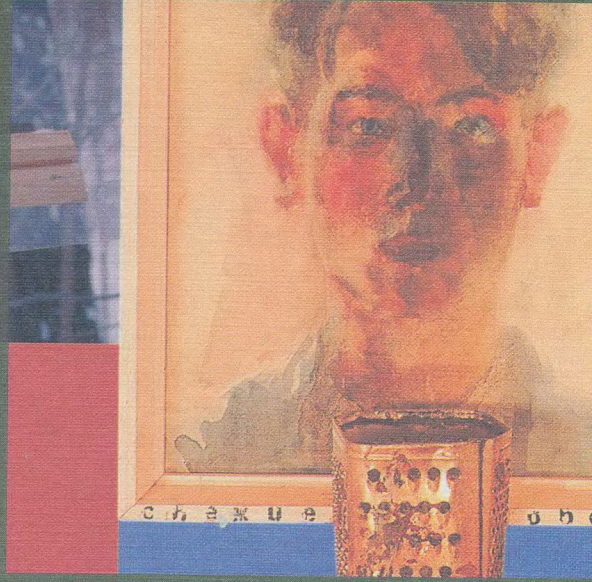
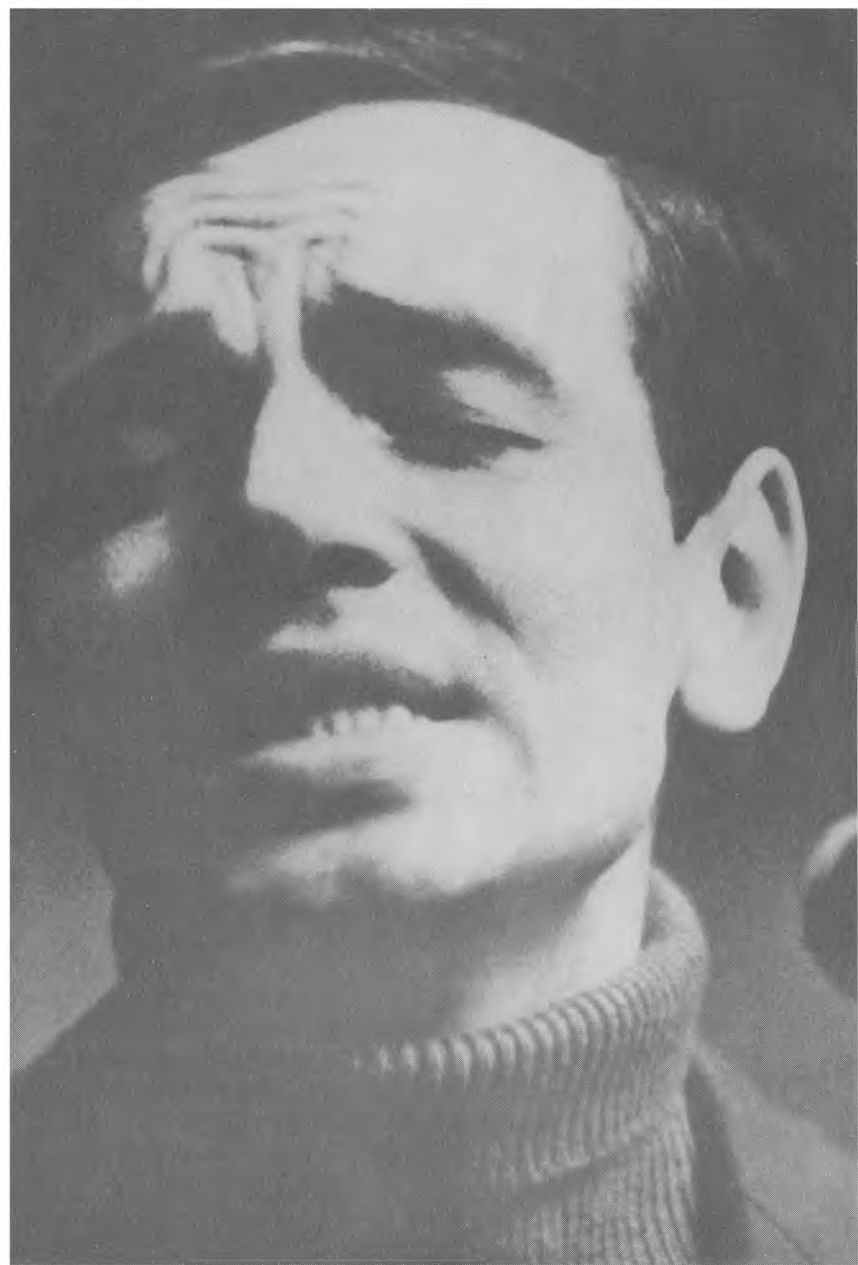


Андрей Вознесенский

Андрей  
Вознесенский



Богдан Петрович.



Собрание сочинений  
в пяти томах

том первый

Андрей  
Вознесенский

ПЕРВЫЙ ЛЕД



ВАГРИУС  
Москва 2000

**УДК 882-14**  
**ББК 84Р7**  
**В 64**

**Федеральная программа книгоиздания России**

**Охраняется законом РФ об авторском праве**

**ISBN 5-264-00547-8**

**ISBN 5-264-00548-6 (Т.1)**

**© Издательство «ВАГРИУС», 2000**

**© А.Вознесенский, автор, 2000**

**© К.Заев, дизайн, 2000**

Известие о смерти подводников на «Курске» застало меня в ночной программе «Антропология».

Шел чат.

За моей спиной дышала, недоумевала, содрогалась, плакала и ржала непечатная стена живой и безмянной стихии языка — русское воплощение мечты Ролана Барта и структуралистов о смерти автора в анонимном тексте. Обычно я с понятной иронией относился к этому.

Но в этот раз чат был особый. «Кексы» не задирались с «эксами». Не было мата. Была всенародная боль. В этой вертикальной реке языка — речи забвения и памяти — проступали вековой стон и вой по погибшим в будущих войнах.

Читал я новые стихи и давние «Возложите на море венки». Слова, когда-то сказанные, обгоняли сегодняшних. Обнажалось прустовское время, когда прошлое бьет из настоящего, а настоящее хлещет в будущее. «Пусть почитает еще!» — отвечал чат...

И вот теперь я растерянно стою, окруженный чатом сотен стихов, написанных за жизнь, среди их многоголосья, которое в древности звали хором, в христианском мире — глоссалией, сейчас кличат чатом, завтра назовут как-нибудь еще. Собственно, в любом стихотворении есть зачаток чата — толковище, разноголосица жизни, автора, иногда Бога, и, конечно, читательского эха.

В чистом виде чатом, еще до рождения Интернета, были моя «Очередь московских женщин» и «Кому на Руси жить плохо», а позднее «Очередь» В. Сорокина.

Я пытаюсь расположить стихи хронологически, но колокола из «Мастеров» вызывают на себя колокола из «Гуру урагана».

Они автономны ко мне, вольничают, нарушают авторские права — беспризорные клочки времени и подсознания, когда-то бывшие моими, — шорох переделкинской листвы, шепот женщины, спор музыки и рисунка, смесь несовместимого, завистливый свист поучателей, треугольные гениальные ошибки и проступки и понимающая душа, прежде всего Ваша, мой чуткий читатель. Все вы — соавторы стихов. Как и в чате, соавторство анонимно, скрыто под масками, принимает карнавальную форму «улетов» и «кругометов».

Издательство подгадало издать мое Собрание к концу века, задумав его как итог. Итог самого чудовищного и самого поэтического из столетий, когда впервые в истории стихи стали читать на стадионах. Но судьба распорядилась по-другому. Два тома выйдут в конце этого века, а другие — уже в новом тысячелетии. Ноги мои — в 20 веке, а руки и голова — в ином измерении. Поэзия не только итог, но и исток. Зябко стоять на водоразделе тысячелетий.

Когда-то я наивно подписывал свое имя «АВ — XXв». Потом по заказу «Известий» нарисовал логотип двадцатого столетия в виде разорванных звеньев цепи.

Поэзия пытается соединить разъятую связь времен.



На табаковском юбилее ко мне подошел Марк Захаров: «Андрей, надо что-то менять. В тексте «Юноны и Авось» написано 20 век...» Я изменил пару слов в «Аллилуйе». Теперь актеры поют: «Нам достался 21-ый век». Вся опера наполнилась новым содержанием. Зрители ее принимают как свою. Значит, в тексте содержалось прустовское время (ну, а например, в следующем столетии будут петь: «Нам 22-ой достался век...» и т.д.). Кстати, в июле будущего года исполнится 20 лет «Юноне и Авось». Прустовское время глядит сквозь роковую оправу. На сетчатке его отпечаталась наша жизнь кверх ногами.

До черной дыры истерта цитата о «блаженном», который посетил «сей мир в его минуты роковые»,

но обычно, возгордись, что они — блаженные, на этом месте прерывают цитату, не дойдя до главных строк:

Его позвали всеблагие,  
Как собеседника на пир.

Поэзия — тайком вынесенная кассета с этого застолья, где безымянные чудища, пожирающие судьбы и народы, обмениваются хмельными репликами.

Муза Техно пытается нынче изменить физиологию слова. Язык, наш единоличный орган речи — «отдыхает». Органами речи становятся безымянные подушечки пальцев — разговаривают наши пятерни. Логопедов сменяют настройщики клавиатуры. Конечно, сигнальные связи меняются тоже. Почему пятитомник? Потому что пятерня. Помните, пятерня Христа прозрела, проколотая гвоздем?

В этой пятистенке чувств живет и мается автор — один из свидетелей нынешнего тяжкого времени, как и Вы, мой читатель, подняв воротник, чтобы не простынуть на прустовском ветру. Единственную свою жизнь он тратит на то, чтобы расслышать несколько Божьих созвучий в наши безбожные дни. Он — ваш соавтор. Он вслушивается не в музыку Революции или Контрреволюции, он слушает музыку языка — первоисточник всех революций и эволюций.

Глубокую поэзию не найдешь на прилавках. Сейчас нет голода на поэзию. Но есть аппетит.

Мы привыкли по утрам пить чай вприкуску с телевизионными трупами. А может быть, попробовать хоть мгновение пожить вприглядку с безымянным небесным словом?..

Книга — это типографский отпечаток Безымянного Чата.



«Я — Гойя... Я — Голос... Я — Горло...» — говорит мне память из почти полувекового пространства. Я читаю. Я слышу напряженный ритм контрапунктов каприччио. Я чувствую запах тайны, войны и страха. Я поворачиваю голову. Я вижу: Я — Гойя! Труба и набат зазвучали тогда тревогой. Эхо судилищ еще раз наступает нас. Полыхают костры Новой инквизиции ГУЛАГа. Идет охота на ведьм. Изгоняют дьявола из морганистов, ревизионистов, формалистов, «абстрактистов» и «педерастов»... Когда позднее я познакомился с Андреем и услышал его стихи, меня поразила его манера читать: губы — труба, горло — пульсирующая воронка, рождающая звуки-слова. Я был удивлен полному совпадению моих впечатлений от чтения и слушания его стихов. Полифония звуков в ритмическом пространстве приближается ко мне, как несущийся через туннель поезд. Звуки достигают поверхности, приобретают смысл слов-символов, и восстанавливается связь времени. На ритмическое мгновение движение останавливается и пространство статично. Затем «Я» Гойи, Войны, Горла повешенной бабы... через голос «Я» Вознесенского продолжает говорить и возобновляется цикл: звук — пространство — ритм — форма — время. Голос, ритм и плоть поэзии Андрея Вознесенского пронизывали и наполняли пространство и время, в котором я работал. Почти телепатические совпадения архетипов и метафор его слова и моей пластики лечили от одиночества. Распятая, распятия! Меня преследовали распятия: распятые деревья, распятые в полете птицы, распятия разлета бровей и цветов. И вдруг у Вознесенского:

Лилия хватается за воздух —  
как ладонь прибитая Христа.

Появились торсы и строки о «полу-роботах полу-духах». Пластика и слово параллельно обратились к теме времени, которое вдавило, всадило в живую плоть и дух мертвое железо робота и ворвалось ледяным ритмом металла в строфы Вознесенского:

Царь страшон, словно кляча тощий,  
почерневший как антрацит.  
По лицу пронесются очи,  
как буксующий мотоцикл.

Шестикрылый Серафим — учитель пушкинского Пророка-поэта был и моим учителем. Но подвижное железо, вставленное в глаза царя, пророки и пророчества, распятия и сам Серафим, хоть и затравленный, хоть и оболганный, могли тогда хоть как-то выживать в подвижной летящей строфе лишь на бумаге. Увы — не в пластике. Пространственно-пластическая метафора изобразительного искусства была совершенно непривычна, а от этого особенно враждебна. Быть может, именно от традиционной внешней доступности и привычности, слова, если и не до конца были поняты, хотя бы не так сразу пугали. Определенная в пластике метафора времени была совершенно неприемлемой для инквизиторов Нового времени. Андрей и я все это понимали. Я был рад, когда его «буксующие очи» и распятия с трудом, с кровью, но пробивались в печать, он — горестно смотрел на мои, схороненные заживо в подвале мастерской, подальше от глаза тех, кто мог бы стать их зрителем... и, наконец, лист к листу собирали они, Оза-Муза Зоя и Вознесенский в сохранность несколько графических работ, погибавших на глазах перед моим отъездом на Запад:

...Боже, отпусти на не  
лампа-жизнь разбилась попо  
ты не оправдала меч  
Боже, отпусти на не...

Магическая завороченность рифмованного слова отнюдь не спасала лучшие из них от вытравления известными препаратами цензуры. Но тот, кто хотел работать, — работал. Кто не мог не работать — работал. На небо некоторые из нас отпущены не были.

Видно, имеются за нами кое-какие долги, да удерживают нас здесь так любящие нас.

Выручает и помогает Андрею игра. Вознесенский ведет веселую и грозную игру со словом. Со словом-заклинанием, со словом-заговором. Ведет игру в пространственные, ритмические, звуковые, — магические шарады. Игра эта отнюдь не бегство. Она — суть, возвращение к истокам. Воскрешение утраченной традиции поэтики податливого, пластичного, послушного, полного полунамёков, чудных недосказанностей и пророчеств русского языка.

Не было у Хлебникова никаких «сложностей».

Гораздо ближе к исконно народному фольклору стояли он и футуристы, нежели любой зализанный петушок на палочке у почвенников. Нет парадокса в том, что высокая элитическая форма искусства слова уходит корнями в традицию народного языкотворчества. Модернизм гораздо ближе по своей сути народным игрищам и карнавалам, чем любая усредненная гладкопись на тему.

И вот Вознесенский погрузился в эту традицию и, как никто другой, приблизился к ее эзотерической сердцевине. Именно поэту присуще слышать ритмы пространства в своем «акустическом цеху», может, «миная Времени реку, читать Матфея или Луку» и бежать «укушенный собаками... через Москву...», через Лесной регтайм. И одному ему известно легкостью обживать это пространство заново. Проходить каждый раз по острию эстетического баланса, истории, традиции, улицы и салонов и создавать свое языкотворчество и свой миф Шаланды Желаний, где между ужасом оставленности, «неточными писсуарами Марсель Дюшана» и «лавандовыми вандалами» «шаландышаландышаландыша — ЛАНДЫША ХОЧЕТСЯ!»

Никто из российских поэтов не удостоился такого количества погромных заказных статей и брызжа-

ния посредственности. Сейчас смешно их читать, но тогда было страшно. Андрей перекрывал свою ранимость иронией.

Но мастера его понимали, и спасала его беззаветная любовь Большого глубокого читателя.

Мне запомнились слова патриарха нашего структурализма Виктора Борисовича Шкловского: «Стихи Вознесенского полны трагической точности в изображении современности. И слова стихов Вознесенского набегают друг на друга и повторяют друг друга, как звуки ударов буферов внезапно остановленного поезда».

Поэтика Вознесенского влиет на современников.

Многие прошли его школу. Даже у его недругов встречались его образы, интонации, строки.

Пространственные игры Андрея продолжаются.

И василиск дара все преподносит новые сюрпризы.

Сюрпризы истинно Вознесенские — головокружительные, прозрачные, проникающие, пронзительно лиричные, пророческие, страшные... и веселые.

От «Треугольной груши», «Антимиров», «Ахиллесова сердца», наконец «Гадания по книге», «Casino «Россия» и «Девочка с пирсингом», его видеом, выстроенных по законам застывшей музыки архитектуры, где есть бесконечные множественности, объединенной первородным толчком дара и замысла, рождается звуковой, ритмический и пространственный синтез — синтез Вознесенского. И какая вера и уверенность во взаимопроникаемость искусств! Какое точное знание, что звук, цвет и форма разделены пространством одновременно и, взаимодействуя, создают визуальное и смысловое целое!

В этом смысле, мне кажется «Колокольным эпилогом» мозаичного романа Вознесенского с новой Россией его одна из последних поэм «Гуру урагана» — мощная центрифуга, втягивающая читателя в стремительный вихрь архетипов на злобу ее сегодняшнего дня. Голос Вознесенского «привлек любовь пространства» и «услышал будущего зов», пропустив мимо ушей хамскую дьявольскую хрущевского времени. По почерку мастера узнаем руку его — самого поэтического поэта в психопатическое время России. Понистине,

на исходе XX века, ясно, что место в XXI веке ему гарантировано, но поэт стремится к пониманию читателя сегодняшнего, когда о поэзии и ее предназначении порядком подзабыли. Ритмы XX века «самого великого поэта современности» (как свидетельствует недавно журнал французских интеллектуалов «Нувель обсерватер»), вероятно, живут уже в XXI веке.

Член десяти Академий мира, Вознесенский на самом деле не академик. Он — маг! Поэт и художник — маги по своему назначению и предназначению. Они обладают изначальным знанием подлинных имен вещей и способны вызывать их из небытия к жизни, облекая в форму. Быть может, поэтому вчера, как сегодня, Андрей Вознесенский ворожит-завораживает, иронизируя, играя, перетекая через ритм от звука, намек и недомолвок к всепоглощающему смыслу в пространстве собственных слов и строф.

**Мозаика — Парабола**







## Пожар в Архитектурном институте

Пожар в Архитектурном!  
По залам, чертежам,  
амнистией по тюрьмам —  
пожар! Пожар!

По сонному фасаду  
бесстыже, озорно  
гориллой краснозодою  
взвывается окно!

А мы уже дипломники,  
нам защищать пора.  
Трещат в шкафу под пломбами  
мои выговора!

Ватман — как подраненный,  
красный листопад.  
Горят мои подрамники,  
города горят.

Бутылку керосиновой  
взвилось пять лет и зим...  
Кариночка Красильникова,  
ой! Горим!

Прощай, архитектура!  
Пылайте широко,  
коровники в амурах,  
райкомы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,  
весь в пламени диплом!  
Ты машешь красной юбочкой  
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!  
Жизнь — смена пепелищ.  
Мы все перегораем.  
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,  
вонзится злей пчелы  
иголочка от циркуля  
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.  
Милиции полно.  
Все — кончено!  
Все — начато!  
Айда в кино!

## Немые в магазине

*Д. Н. Журавлеву*

Немых обсчитали.  
Немые вопили.  
Медяшек медали  
влипали в опилки.

И гневным протестом,  
что все это сказки,  
кассиша, как тесто,  
вздымалась из кассы.

И сразу по залам,  
по курам зеленым,  
пахнуло слезами,  
как будто озоном.

О, слез этих запах  
в мычащей ораве.  
Два были без шапок.  
Их руки орали.

А третий с беконом  
подобием мата  
ревел, как Бетховен,  
земно и лохмато!

В стекло барабаня,  
ладони ломая,  
орала судьба моя  
глухонемая!

Кассирша, осклабясь,  
косилась на солнце  
и ленинский абрис  
искала в полсотне.

Но не было Ленина.  
Все было фальшью...  
Была бакалея.  
В ней люди и фарши.

\*\*\*

Эх, Россия!..  
Эх, размах...  
Пахнет псиной  
в небесах.

Мимо Марсов, Днепрогэсов,  
мачт, антенн, фабричных труб  
страшным символом  
прогресса  
носятся собачий  
труп.

## Туманная улица

Туманный пригород как турман.  
Как поплавки, милиционеры.  
Туман.  
Который век? Которой эры?

Все — по частям, подобно бреду.  
Людей как будто развинтили...  
Бреду.  
Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.  
Они, как в фодисе, двоятся.  
Калоши?  
Как бы башкой не поменяться!

Так женщина — от губ едва,  
двоюсь и что-то воскрешая,  
уж не любимая — вдова,  
еще — твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...  
Венера? Продавец мороженого!..  
Друзья?  
Ох эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,  
туман, туман — не разберешься,  
о чью щеку в тумане трешься?..  
Ау!

Туман, туман — не дозовешься...

## Параболическая баллада

Судьба, как ракета, летит по параболе  
обычно — во мраке и реже — по радуге.  
Жил огненно-рыжий художник Гоген,  
богема, а в прошлом — торговый агент.  
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,  
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,  
кудахтанье жен и дерьмо академий.  
Он преодолел тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:  
«Прямая — короче, парабола — круче,  
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревушей  
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.  
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —  
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,  
червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка, рядом в квартале.  
Мы с нею учились, зачеты сдавали.  
Куда ж я уехал! И черт меня нес  
меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.  
Простывшие плечики в черном парадном...  
О, как ты звенела во мраке Вселенной  
упруго и прямо — как пруттик антенны!  
А я все лечу, приземляясь по ним —  
земным и озлбшим твоим позывным.  
Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,  
несутся искусство, любовь и история —  
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.

.....

А может быть, все же прямая — короче?



**Бьют женщину**

Бьют женщину. Блестит белок.  
В машине темень и жара.  
И бьются ноги в потолок,  
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.  
Она в заплаканной красе  
срывает ручку как рубильник,  
выбрасываясь на шоссе!

И взвизгивали тормоза.  
К ней подбегали тормоза.  
И волочили и лупили  
Лицом по лугу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,  
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!  
Вонзался в дышащие ребра  
ботинок узкий, как уют.

О, упоенье оккупанта,  
изыски деревенщины...  
У поворота на Купавну  
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,  
бьют юность, бьет торжественно  
набата свадебного гуд,  
бьют женщину.

А от жаровен на щеках  
горящие затрещины?  
Мещанство, быт — да еще как! —  
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,  
отважный и божественный.  
Религий — нет, знамений — нет.  
Есть Женщина!..

...Она как озеро лежала  
стояли очи как вода  
и не ему принадлежала  
как просека или звезда

и звезды по небу стучали  
как дождь о черное стекло  
и скатываясь остужали  
ее горячее чело

## Потерянная баллада

### I

В час осенний,  
сквозь лес опавший,  
осеняюще и опасно  
в нас влетают, как семена,  
чьи-то судьбы и имена.

Это Переселенье Душ.  
В нас вторгаются чьи-то тени,  
как в кадучках растут растенья...

В нервной клинике 300 душ.

Бывший зодчий вопит: «Я — Гойя».  
Его шваброй на койку гонят.

А в ту вселился райсобес —  
всем раздаст и ходит без...

А пацанка сидит в углу.  
Что таит в себе — ни гугу.  
У ней — зрочки киноактрисы  
косят, как кисточки у рыси...

### II

Той актрисе все опостылело,  
как пустынна ее Потылиха!  
Подойдет, улыбнуться силась:  
«Я в кого-то переселилась!  
Разбежалась, как с бус стеклярус.  
Потерялась я, потерялась!..»

Она ходит, сопоставляет,  
нас, как стулья, переставляет.

И уставится из угла,  
как пустынный костел, гулка.

Машинально она — жена.  
Машинально она — жива.  
Машинальны вокруг бутылки,  
и ухмылки скользят обмылками.  
Как украли ее лабазно!..

А ночами за лыжной базой  
три костра она разожжет  
и на снег крестом упадет

потрясенно и беспощадно  
как посадочная площадка

пахнет жаром смолой лыжной  
ждет лежит да снежок лизнет  
самолет ушел — не догонишь

Ненайденыш мой, ненайденыш!  
Потерять себя — не пустяк,  
вся бежишь, как вода в горстях...

### III

А вчера, столкнувшись в гостях,  
я увижу, что ты — не ты,  
сквозь проснувшиеся черты —  
тревожно и радостно,  
как птица, в лице твоём, как залетевшая  
в фортку птица,  
бьет пропавшая красота...

«Ну вот, — ты скажешь, — я и нашлась, кажется...  
В новой ленте играю... В 2-х сериях...  
Если только первую пробу, блин, не зарубят!..»

## Первый лед

Мерзнет девочка в автомате,  
прячет в зябкое пальтецо  
все в слезах и губной помаде  
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.  
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной  
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.  
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —  
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.  
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,  
еще раз,  
еще много, много раз.

\* \* \*

К нам забредал Булат  
под небо наших хижин  
костлявый как бурлак  
он молод был и хищен

и огненной настурцией  
робея и наглея  
гитара как натурщица  
лежала на коленях

она была смирей  
чем в таинстве дикарь  
и темный город в ней  
гудел и затихал

а то как в реве цирка  
вся не в своем уме —  
горящим мотоциклом  
носилась по стене!

мы — дети тех гитар  
отважных и дрожащих  
между подруг дражайших  
неверных как янтарь

среди ночных фигур  
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур  
крадется сигаретка

Елена Сергеевна

Борька — Любку, Чубук — двух Мил,  
а он учительку полюбил!

Елена Сергеевна, ах, она...  
(Ленка по уши влюблена!)

Елена Сергеевна входит в класс.  
(«Милый!» — Ленка кричит из глаз.)

Елена Сергеевна ведет урок.  
(Ленка, вспыхнув, крошит мелок.)

Понимая, не понимая,  
точно в церкви или в кино,  
мы взирали, как над пенами  
шло таинственное  
о н о...

И стоит она возле окон —  
чернокосая, синеокая,  
закусивши свой красный рот,  
белый табель его берет!

Что им делать, таким двоим?  
Мы не ведаем, что творим.  
Педсоветы сидят:  
«Учтите,  
вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели...»  
Как возмездье, грядут родители.  
Ленка-хищница, Ленка-мразь,  
ты ребенка втоптала в грязь!

«О спасибо моя учительница  
за твою высоту лучистую  
как сквозь первый ночной снежок  
я затверживал твой урок

и сейчас как звон вырубалочки  
из жемчужных уплывших стран  
окликает меня англичаночка —  
«проспишь алгебру,  
мальчуган...»

Ленка, милая, Ленка — где?  
Ленка где-то в Алма-Ате.  
Ленку сшибли, как птицу влет...

Елена Сергеевна водку пьет.



## Последняя электричка

Мальчики с финками, девочки с фиксами,  
две контролерши заснувшими сфинксами.

Я еду в этом тамбуре,  
спасаясь от жары,  
кругом гудят как в таборе  
гитары и воры.

И как-то получилось,  
что я читал стихи  
между теней плечистых,  
окурков, шелухи.

У них свои ремесла.  
А я читаю им,  
как девочка примерзла  
к окошкам ледяным.

На черта им девчонка  
и рифм ассортимент?  
Таким, как эта — с челкой  
и пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые,  
на блузке видит взгляд  
всю дактилоскопию  
малаховских ребят.

Чего ж ты плачешь бурно,  
и, вся от слез светла,  
мне шепчешь нецензурно  
чистейшие слова?

И вдруг из электрички,  
ошеломив вагон,  
ты чище Беатриче  
сбегаешь на перрон!

\*\*\*

Сидишь беременная, бледная.  
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платьице,  
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют  
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,  
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,  
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,  
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,  
остолбнев до немоты,

стоят как каменные бабы,  
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,  
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета  
своим огромным животом.

## Песня Офелии

Мои дела —  
как сажа бела,  
была черноброва, светла была,  
да все добро свое раздала,

миру по нитке — голая станешь,  
ивой поникнешь, горкой растаешь,  
мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,  
пропахший бензином, чужими духами,  
как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела  
и рвут удила,  
уж лучше б на площадь, в чем мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,  
а жизнь, как монетка,  
на решку легла,

искала —  
орла,  
да вот не нашла...

Мои дела —  
как зола — дотла.

## На плотях

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной и черной водой,  
я — ничей!  
Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал  
твоих губ, твои волосы, платье, жильё.  
Я плевал  
на святое и лживое имя твоё!

Ненавижу за ложь  
телеграмм и открыток твоих,  
ненавижу, как нож  
по ночам ненавидит живых,

ненавижу твой шелк,  
проливные нейлоны гардин,  
мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня  
телефон-автоматной Москвы,  
я страшон, как икона,  
почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,  
голубая щека рыбака,  
«нет» — слезам.  
«Да» — мужским, продубленным рукам.

«Да» — девчатам разбойным,  
купающим МАЗ, как коня,  
«да» — брандспойтам,  
сбивающим горе с меня.

## Сибирские бани

Бани! Бани! Двери — хлоп!  
Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пыли, прямо с жару —  
ну и ну!  
Слабовато Ренуару  
до таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,  
эти спины наповал,  
будто доменную печью  
запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,  
здесь на ты, на ты, на ты  
чистота огня и снега  
с чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный,  
мы стоим, четыре парня, —  
в полушубках, кровь с огнем, —  
как их шуткой  
шуганем!

Ой, испугу!  
Ой, в избушку,  
как из пушки, во весь дух:  
— Ух!

А одна в дверях задержится,  
за приступочку подержится  
и в соседа со смешком  
кинет  
кругленьким снежком!

1958

Утиных крыльев переплеск.  
И на тропинках заповедных  
последних паутинок блеск,  
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,  
стучись проститься в дом последний.  
В том доме женщина живет  
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,  
к тужурке припадет щекою,  
она, смеясь, протянет рот.  
И вдруг, погаснув, все поймет —  
поймет осенний зов полей,  
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,  
она подумает о том,  
что яблонька и та — с плодами,  
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,  
в полях, в домах, в лесах продутых,  
им — колоситься, токовать.  
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:  
«Зачем мне руки, груди, плечи?  
К чему мне жить и печь топить  
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —  
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее  
лежат поля из алюминия.  
По ним — черны, по ним — седы,  
до железнодорожной линии  
протянутся мои следы.



**Тайгой**

Твои зубы смелы  
в них усмешка ножа  
и гудят как шмели  
золотые глаза!

мы бредем от избушки  
нам трава до ушей  
ты пророчишь мне взбучку  
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня  
хоть в округе — скиты  
бродят пчелы мохнатые  
нагибая цветы

я не знаю — тайги  
я не знаю — семьи  
знаю только зрачки  
знаю — зубы твои

на ромашках роса  
как в буддийских пиалах  
как она хороша  
в длинных мочках фиалок

в каждой капельке-мочке  
отражаясь мигая  
ты дрожишь как Дюймовочка  
только кверху ногами

ты — живая вода  
на губах на листке  
ты себя раздала  
всю до капли — тайге.

1958

## Снохач

Загривок сохатый как карагач —  
невесткин: хахаль,  
снохач, снохач!..

Он шубу справил ей в ту весну.  
Он сына сплавил на Колыму.  
Он ночью стучит черпаком по бадье.  
И лампами  
капли  
висят в бороде!  
(Огромная осень, стара и юна,  
в неистово-синем сиянье окна.)

А утром он в чайной подсядет ко мне,  
дыша перегаром,  
как листья в окне,  
и скажет мне:  
«Что ж я? Художник, утешь.  
Мне страшно, художник!.. Я сыну — отец...»

И слезы стоят, как стакан первача,  
в неистово синих глазах снохача.

## Торгуют арбузами

Москва завалена арбузами.  
Пахнуло волей без границ.  
И веет силой необузданной  
от возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.  
Хохочут. Сдачею стучат.  
Ножи и вырезок тузы.  
«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!  
И так же сочны и вкусны  
милиционерские околыши  
и мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,  
как те арбузы у ворот —  
земля мотается  
в авоське  
меридианов и широт!

## Осенний воскресник

Кружатся опилки,  
 груши и лимоны.  
 Прямо  
     на затылки  
 падают балконы!

Мимо этой сутолоки,  
 ветра, листопада  
 мчатся на полutorке  
 ведра и лопаты.

Над головоломной  
                     ка-  
                     та-  
                     строфой  
 мы летим в Коломну  
 убирать картофель.

Замотаем платица,  
 брючины засучим.  
 Всадим заступ  
 в задницы  
     пахотам и кручам!

\*\*\*

По Суздалю, по Суздалю  
сосулек, смальт —  
авоською с посудю  
несется март.

И колокол над рынком  
мотается серьгой.  
Колхозницы — как кринки  
в машине грузовой.

Я в городе бидонном,  
морозном, молодом.  
«Америку догоним  
по мясу с молоком!»

Я счастлив, что я русский,  
так вижу, так живу.  
Я воздух, как краюшку  
морозную, жую.

Весна над рыжей кручей,  
взяв снеговой рубеж,  
весна играет крупом  
и ржет как жеребец.

А ржет она над критикой  
из толстого журнала,  
что видит во мне «скрытое  
посконное начало».

## Тбилисские базары

...носы на солнце лупятся,  
как живопись на фресках.

Долой Рафаэля!  
Да здравствует Рубенс!  
Фонтаны форели,  
цветастая грубость!

Здесь праздники в будни,  
арбы и арбузы.  
Торговки — как бубны,  
в браслетах и бусах.

Индиго индеек.  
Вино и хурма.  
Ты нынче без денег?  
Пей задарма!

Да здравствуют бабы,  
торговки салатом,  
под стать баобабам  
в четыре обхвата!

Базары — пожары.  
Здесь огненно, молодо  
пылают загаром  
не руки, а золото.

В них отблески масел  
и вин золотых.  
Да здравствует мастер,  
что выпишет их!

\*\*\*

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,  
пропахнувшие формалином  
и фимиамом знатоки!  
В вас, может, есть и целина,  
но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,  
не столько Божьей, как людской,  
чтоб слушали бульдозеристы  
непроходимую тайгой.  
Им приходилось зло и солоно,  
но чтоб стояли, как сейчас,  
они — небритые, как солнце,  
и точно сосны — шелушась.  
И чтобы девочка-чувашка,  
смахнувши синюю слезу,  
смахнувши — чисто и чумазо,  
смахнувши — точно стрекозу,  
в ладоши хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки  
любых ругателей рогатины  
и яростные ярлыки.

\*\*\*

Вас за плечи держали  
ручищи эполетов.  
Вы рвались и дерзали,  
гусары и поэты!

И уносились ментики  
меж склонов-черепях,  
и полковые медики  
копались в черепах.

Но снова мертвой петлею  
несутся до рассвета  
такие же отпетые  
шоферы и поэты!

Их фары по спирали  
уходят в небосвод.  
Вы совесть потеряли.  
Куда нас занесет?



## Противостояние очей

Третий месяц ее хохот нарочит,  
третий месяц по ночам она кричит.  
А над нею, как сиянье, голося,  
вечерами  
    разражаются

Глаза!

Пол-лица ошеломленное стекло  
вертикальными озерами загло.

...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,  
ты их слушаешь, как лунный садовод,  
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,  
поднимается к наполненным зрачкам.

Говоришь: «Невыносима синева!  
И разламывает голова!  
Кто-то хищный и торжественно-чужой  
свет зажег и поселился на постой...»

Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.  
Говоришь — они к аварии манят.  
Вместо слез —  
иллюминированный взгляд.  
«Симулирует», — соседи говорят.

Ходят люди, как глухие этажи.  
Над одной горят глаза, как витражи.

Сотни женщин их носили до тебя,  
сколько муки накопили для тебя!  
Раз в столетие

касается

людей

это Противостояние Очей!..

...Возле моря отрешенно и отчаянно  
бродит женщина, беременна очами.

Я под ними не бродил,  
за них жизнью заплатил.

## Мастерские на Трубной

Дом на Трубной.  
В нем дипломники басят.  
Окна бубной  
жгут заснеженный фасад.  
Дому трудно.

Раньше он соцреализма не видал  
в безыдейном заведении у мадам.

В нем мы чертим клубы, домны,  
но бывало,  
стены фрескою огромной  
сотрясало,

шла империя вприпляс  
под венгерку,  
«феи» реяли меж нас  
фейерверком!

Мы небриты как шинель.  
Мы шалели,  
отбиваясь от мамзель,  
от шанели,

но упорны и умны,  
сжавши зубы,  
проектировали мы  
домны, клубы...

Ах, куда вспорхнем с твоих  
авиаматок,  
Дом на Трубной, наш Парнас,  
альма-матер?

Я взираю, онемев,  
на лекало —  
мне районный монумент  
кажет  
ноженьку  
лукаво!

**Баллада точки**

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!..»

Балда!

Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,  
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелюю пронзив самодурство и свинство,  
к потомкам неслась траектория свиста!  
И не было точки. А было — начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.  
И точка тоннеля, как дуло, черна...  
В бессмертье она?  
Иль в безвестность она?..

Нет смерти. Нет точки. Есть путь пулевой —  
вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.  
Мы будем бессмертны. И это — точно!

## Баллада работы

*Е. Евушенко*

Петр  
Первый —  
пот  
первый...

Не царский (от шубы,  
от баньки с музыкой),  
а радостный  
          грубый,  
                  мужицкий!

От плотской забавы  
гудела спина,  
от плотницкой бабы,  
пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались  
дубы топорниц!  
Аж щепки вонзались  
в Стамбул и Париж!

А он только кричал,  
упруг и упрям  
расставивши краги,  
как башенный кран.

А где-то в Гааге  
духовный буян,  
бродяга отпетый,  
и нос, точно клубень —  
Петер?  
Рубенс?!

А может, не Петер?  
А может, не Рубенс?  
Но жил среди петель  
рубинов и рубищ,



\*\*\*

Ах, сыграй мне, Булат, полечку...  
Помнишь полечку, челку пчелочкой?  
Парой ласточек —  
раз, и нет! —  
чиркнут лодочки о паркет.

Пава, панночка, парусок,  
как там тонешь наискосок?  
Мы прикручены по ночам  
к разным мчащимся поездам.

Ах, осин номерок  
табельный!  
Ах, октябрь, ах, октябрь  
таборный!

Отовсюду моя вина,  
как винтовка, глядит в меня:  
«Ах, забудь, забудь, не глупи,  
телевизор, что ли, купи»...

Я живу в Каширском лесничестве.  
Рыб слежу. Либо снасть чиню.  
Только это мне — ни к чему.  
Пуст мой лес, и поля собраны.  
Гитарист бы сыграл —  
струны сорваны.



## Сирень «Москва — Варшава»

*Р. Гамзатову*

### 11. III. 61

Сирень прощается, сирень — как лыжница,  
сирень, как пудель, мне в щеки лижется!  
Сирень заревана,  
сирень — царевна,  
сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур как бизон.  
Расул Гамзатов сказал: «Свезем».

### 12. III. 61

Расул упарился. Расул не спит.  
В купе купальщицей сирень дрожит.  
О, как ей боляно! Под низом  
колеса поезда — не чернозем.  
Наверно, в мае цвeсть «красивей»...  
Двойник мой, магия, сирень, сирень,  
сирень как гений! Из всех одна  
на третьей скорости цветет она!

Есть сто косулей —  
одна газель.  
Есть сто свистулек — одна свирель.  
Несовременно цвести в саду.  
Есть сто сиреней.  
Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,  
как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.  
Как сто салютов, стоит сирень.

13.III.61

Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»

Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда — седьмое чувство...

Вокруг планеты зеленой люстрой,

промеж созвездий и деревень

свистит

трассирующая

сирень!

Смешны ей — почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Черта с два!

## Новогоднее письмо в Варшаву

А. Л.

Когда под утро, точно магний,  
бледнеют лица в зеркалах  
и туалетною бумагой  
прозрачна пудра на щеках,  
как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд,  
как будто раки на тарелке,  
их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдищ.  
Ты лоб свой о фужеры студишь.  
Ты шаль срываешь. Ты горишь.  
«В Варшаве душно», — говоришь.

А у меня окно распахнуто  
в высотный город словно в сад  
и снег антоновкою пахнет  
и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают  
ждут  
не шелохнутся  
легки  
внимательные  
как лампы  
или как летом табаки.

Они немножечко качнутся,  
когда их ноженькой  
коснутся,  
одетой в польский сапожок...

Пахнет яблоком снежок.

1961

\* \* \*

Конфедераток тузы бесшабашные  
 кривы.  
 Звезды вонзались, точно собашник  
 в гривы!

Польша — шампанское, танки палящая  
 Польша!  
 Ах, как банально — «Андрей и полячка»,  
 пошло...

Как я люблю ее еле смеженные веки,  
 жарко и снежно, как сны — на мгновенье, навеки...

Во поле русском, аэродромном  
 во поле-полюшке  
 вскинула рученьки к крыльям огромным —  
 П о л ь ш а!

Сон? Богоматерь?..

Буфетчицы прыщут, зардев, —  
 весь я в помаде,  
 как будто абстрактный шедевр.

## Стога

Менестрель атомный,  
галстучек-шнурок...  
Полечка — мадонной?  
Как Нью-Йорк?

Что ж, автолюбитель,  
ты рулишь к стогам,  
точно их обидел  
или болен сам?

Как стада лосиные,  
спят  
    стога.  
Полыхает Россия,  
голуба и строга.

И чего-то не выразив,  
ты стоишь, человек,  
посреди телевизоров,  
небосклонов, телег.

Там — аж волосы дыбом! —  
разожгли мастера  
исступленные нимбы,  
будто рефлятора.

Там виденьем над сопками  
солнцу круглому вслед  
бабка в валенках стоптанных  
крутит велосипед...

Я стою за стогами.  
Белый прутик стругаю.

«Ах, оставьте, — смеюсь,  
Я без вас разберусь!»

Нас любили и крыли.  
Ты ж, Россия, одна,  
как подводные крылья,  
направляешь меня.

## Эпитафия

Брат,  
не загадывай на завтра!  
«Автор умер», — думал Барт.  
«Умер Барт», — подумал автор.

\*\*\*

Мы писали историю  
не пером — топором.  
Сколько мы понастроили  
деревень и хором.

Пахнут стружкой фасады,  
срубы, башни, шатры.  
Сколько барских усадеб  
взято в те топоры!

Сотрясай же основы!  
Куй, пока горячо.  
Мы последнего слова  
не сказали еще.

Вздоргнут крыши и листья.  
И поляжет весь свет  
от трехпалого свиста  
межпланетных ракет.



## Мотогонки по вертикальной стене

*Н. Андросовой*

Завораживая, манежа,  
свищет женщина по манежу!  
Краги —  
красные, как клешни.  
Губы крашенные — грешны.  
Мчит торпедой горизонтальной,  
хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!  
Щеки вдавлены, как воронка.  
Мотоцикл над головой  
электрической пилой.

Надоело жить вертикально.  
Ах, дикарочка, дочь Икара...  
Обыватели и весталки  
вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами,  
меж оваций, афиш, обид,  
сущность женщины  
горизонтальная  
мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!  
Ах, как слезы к белкам прибиты!  
И тиранит ее Чингисхан —  
замдиректора Сингичанц...

Сингичанц: «Ну, а с ней не мука?  
Тюже трюк — по стене, как муха...  
А вчера камеру проколола... Интриги...  
Пойду напишу по инстанции...  
И царапается, как конокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.  
«Научи, — говорю, — горизонту...»

А она молчит, амазонка.  
А она головой качает.  
А ее еще трек качает.  
А глаза полны такой —  
горизонтальную  
тоской...

## Длиноного

*М. Таривердиеву*

Это было на взморье синем —  
в Териоках ли? в Ориноко? —  
она юное имя носила —  
Длиноного!

Выходила — походка легкая,  
а погодка такая летная!  
От земли, как в стволах соки,  
по ногам  
подымаются  
токи,  
ноги праздничные гудят —  
танцевать,  
танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные,  
извели тебя хулиганствами!  
Ты заснешь — ноги пляшут, пляшут,  
как сорвавшаяся упряжка.  
Пляшут даже во время сна.  
Ты ногами оглушена.

Побледневшая, сокрушенная,  
вместо водки даешь крушоны —  
под прилавком сто дьяволят  
танцевать,  
танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! — сопит завмаг. —  
Ах, у женщины ум в ногах».  
Но не слушает Длиноного  
философского монолога.

Как ей хочется повышаться  
на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами —  
к босанове несут,  
к самбе!

Он — приезжий. Чудной как цуцик.  
«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!  
Ну, а ночи, такие лунные!  
Длиноного, побойся Бога,  
сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».  
Как коня, колени обхватит  
и качается, обхватив,  
под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длиноного?..

Ты — далеко.

\*\*\*

Над Академией,  
осатанев,  
грехопадением  
падает снег.

Парками, скверами  
счастье взвилось.  
Мы были первыми.  
С нас началось.

Ласки, погони,  
искры из глаз.  
Все — эпигоны,  
все после нас.

Лифы, молитвы,  
свист пулевой,  
прыганья в лифты  
вниз головой!..

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест  
три парня подались на Запад.  
Их кто-то выдает. Их цапают.  
41-й год. Привет!  
«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?!  
четыре тыщи дней, как ноша,  
четыре тысячи ночей  
не побывала я ничьей,  
соседским детям десять лет,  
прошла война, тебя все нет,  
четыре тыщи солнц скатилось,  
как ты там мучаешься, милый,  
живой ли ты и невредимый?  
предела нету для любимой —

ополоумевши любя,  
я, Рута, выдала тебя —  
из тюрем приходят иногда,  
из заграницы — никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.  
Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:  
«Любимый мой! Любимый мой!»

## Осень в Сигулде

Свисаю с вагонной площадки,  
прощайте,

прощай, мое лето,  
пора мне,  
на даче стучат топорами,  
мой дом забивают дощатый,  
прощайте,

леса мои сбросили кроны,  
пусты они и грустны,  
как ящик с аккордеона,  
а музыку — унесли,

мы — люди,  
мы тоже порожни,  
уходим мы,  
так уж положено,  
из стен,  
матерей  
и из женщин,  
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,  
у окон  
ты станешь прозрачно, как кокон,  
наверно, умаялась за день,  
присядем,

друзья и враги, бывайте,  
гуд бай,  
из меня сейчас  
со свистом вы выбегаете,  
и я ухожу из вас,

о родина, попросаема,  
буду звезда, ветла,  
не плачу, не попросайка,  
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах  
в 10 баллов  
я пробовал выбить 100,  
спасибо, что ошибался,  
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки  
вошла гениальность, как  
в резиновую перчатку  
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,  
побыть бы не словом, не бульдиком,  
еще на щеке твоей душной —  
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних  
ты встретила, что-то спросила  
и пса волокла за ошейник,  
а он упирался,  
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,  
что ты мне меня объяснила,  
хозяйка будила нас в восемь,  
а в праздники сипло басыла  
пластинка блатного пошиба,  
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,  
как поезд отходит, уходишь.  
из пор моих полых уходишь,  
мы врозь друг из друга уходим,  
чем нам этот дом неугоден?

ты рядом и где-то далеко,  
почти что у Владивостока,



я знаю, что мы повторимся  
в друзьях и подругах, в травинках,  
нас этот заменит и тот —  
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,  
на смену придут миллионы,  
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,  
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

**Треугольная группа**





Электроплитками  
    пляшут под ней города.

Где она реет,  
    стонет, дурит?  
И сигареткой  
    в тумане горит?

Она прогноз не понимает.  
Ее земля не принимает.

\* \* \*

Худы прогнозы. И ты в ожидании бури,  
Как в партизаны, уходишь в свои вестибюли.

Мощное око взирает в иные мира.  
Мойщики окон  
    слезят тебя, как мошкара,  
Звездный десантник, хрустальное чудище,  
Сладко, досадно быть сыном будущего,  
Где нет дураков  
    и вокзалов-торгов —  
Одни поэты и аэропорты!

Стонет в аквариумном стекле  
Небо,  
    приваренное к земле.

\* \* \*

Аэропорт — озона и солнца  
аккредитованное посольство!

Сто поколений  
    не смели такого коснуться —  
Преодоленья  
    несущих конструкций.  
Вместо каменных истуканов  
Стынет стакан синевы —  
    без стакана.  
Рядом с кассами-теремами





Вгрызаюсь, как легавая,  
врубаюсь, как колун...  
Художник хулиганит?  
Балуй,  
Колумб!

По наитию  
Ищешь Индию —  
найдешь Америку!



**Второе вступление**

Обожаю  
твой пожар этажей, устремленных к окрестностям рая!  
Я — борзая,  
узнавшая гон наконец, я—борзая!  
Я тебя догоню и породу твою распознаю  
По базарному дну  
ты, как битница дуешь, босая!

Под брандспойтом шоссе мои уши кружились,  
как мельницы,  
по безбожной, бейсбольной,  
по бензоопасной Америке!

Кока-кола. Колокола.  
Вот нелегкая занесла!

Ты, чертовски дразня, сквозь чертоги вела и задворки,  
и на женщин глаза  
отлетали, как будто затворы!

Мне на шею с витрин твои вещи дешевками вешались.  
Но я д у ш у искал,  
я турил их, забывши про вежливость.

Я спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом.  
Синей лампой в подвале  
плясала твоя негритянка!

Я был рядом почти, но ты зябко ушла от погони.  
Ты прочти и прости,  
если что в суматохе не понял...

Я на крыше, как гном,  
над нью-йоркской стою планировкой.  
На мизинце моем  
твое солнце — как божья коровка.

## Лобная баллада

Их величеством поразвлекся  
прет народ от Коломн и Клязьм.  
«Их любовница — контрразведчица  
англо-шведско-немецко-греческая...»  
Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий.  
почерневший, как антрацит.  
По лицу проносятся очи,  
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика  
подкатилась к носкам ботфорт,  
он берет ее  
над толпою,  
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,  
переносицею хрустя,  
кровь из горла на брюки хлещет.  
Он целует ее в уста.

Только Красная площадь ахнет,  
тихим стоном оглушена:  
«А-а-анхен!..»  
Отвечает ему она:

«Мальчик мой государь великий  
не судить мне твоей вины  
но зачем твои руки липкие  
солонны?»

баба я  
вот и вся провинность

государства мои в устах  
я дрожу брусничной кровиночкой  
на державных твоих усах

в дни строительства и пожара  
до малюсенькой ли любви?

ты целуешь меня Держава  
твои губы в моей крови

перегаром борщом горохом  
пахнет щедрый твой поцелуй

как ты любишь меня Эпоха  
обожаю тебя  
царуй!..»

Царь застыл — смурной, малахольный,  
царь взглянул с такой меланхолией,  
что присел заграничный гость,  
будто вбитый по шляпку гвоздь.

**Тишины!**

Тишины хочу, тишины...  
Нервы, что ли, обожжены?  
Тишины...

чтобы тень от сосны,  
щекоча нас, перемещалась,  
холодящая словно шалость,  
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.  
Чем назвать твои брови с отливом?  
Понимание — молчаливо.  
Тишины.

Звук запаздывает за светом.  
Слишком часто мы рты разеваем.  
Настоящее — неназываемо.  
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,  
с впечатленьями, голосами.  
Для нее музыкально касанье,  
как для слуха — поет соловей,

Как живется вам там, болтуны,  
на низинах московских, аральских?  
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.  
В ход природ неисповедимый.

И по едкому запаху дыма  
мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.  
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,  
Светят тихие языки.

## Рок-н-ролл

*Андрею Тарковскому*

### ПАРТИЯ ТРУБЫ

Рок-  
н-  
ролл —  
об стену сандалии!

Ром  
в рот — лица как неон.

Ревет  
музыка скандальная,  
труба  
пляшет, как питон!

В тупик  
врежутся машины.

Двух  
вмятку —  
«Хау ду ю ду?»

Туз пик — негритос в манишке,  
дуй,  
дуй  
в страшную трубу!

В ту  
трубу  
мчатся, как в воронку,  
лица,  
рубища, вопли какаду,  
две мадонны  
а-ля подонок —  
в мясорубочную трубу!

Негр  
рыж —  
как затмение солнца.





## ВСЕ

Над страной хрустальной и красивой,  
выкаблучиваясь, как каннибал,  
миссисипийский

    месся

мистер Рок правит карнавал.

Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.  
Мистер Рок — бледен, как юродивый,  
Мистер Рок — министр, пророк, маньяк;  
по прохожим

    пляшут небоскребы —  
башмаками по муравьям.

## СКРИПКА

И к нему от тундры до Атлантики,  
вся неоновая от слез,  
наша юность...

    («О, только не ее, Рок, Рок, ей нет  
    еще семнадцати!..»)

Наша юность тянется лунатиком...

Рок! Рок!

SOS! SOS!

## Монолог Мерлин Монро

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня  
самоубийства и героина.  
Кому горят мои георгины?  
С кем телефоны заговорили?  
Кто в костюмерной скрипит ложиной?  
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,  
невыносимо без рощ осиновых,  
невыносимо самоубийство,  
но жить гораздо  
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин  
(Я помню Мерлин.  
Ее глядели автомобили.  
На стометровом киноэкране  
в библейском небе,  
меж звезд обильных,  
над степью с крохотными рекламами  
дышала Мерлин,  
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.  
Невыносимо),  
невыносимо  
лицом в сиденьях, пропахших псиной!  
Невыносимо,  
когда насильно,  
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,  
невыносимее — углубиться.

Где наша вера? Нас будто сдунули,  
существование — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,  
самоубийство — мириться с ними,  
невыносимо, когда бездарен,  
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,  
деньгами, девками загорелыми,  
ведь нам, актерам,  
жить не с потомками,  
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,  
но отпечатываются подушки  
на юных лицах, как след от шины,  
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рождают?  
Ведь знала мама — меня раздавят,

о, кинозвездное оледененье,  
нам невозможно уединенье,

в метро,  
в троллейбусе,  
в магазине  
«Приветик, вот вы» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты  
во всех афишах, во всех газетах,  
забыв,

что сердце есть посередке,  
в тебя завертывают селедки,

лицо измято,  
глаза разорваны  
(как страшно вспомнить во «Франс-Обзёрвере»  
свой снимок с мордой самоуверенной  
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:

«Вы просто дуся,

ваш лоб — как бисерный!»

А вам известно, чем пахнет бисер?!

Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,

самоубийцы спешат упиться,

от вспышек блицев бледны министры —

самоубийцы,

самоубийцы,

идет всемирная Хиросима,

невыносимо,

невыносимо все ждать, чтоб грянуло,

а главное —

необъяснимо невыносимо,

ну, просто руки разят бензином!

невыносимо горят на синем

твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?

Уж лучше — сразу!

Левый крайний!

Самый тощий в душевой,  
самый страшный на штрафной,  
бито стекло — боже мой!  
И гераней...  
Нынче пулей меж тузов,  
блещет попкой из трусов  
левый крайний.

Левый шпарит, левый лупит.  
Стадион нагнулся лупой,  
прожигательным стеклом  
над дымящимся мячом.

Правый край спешит заслоном,  
он сипит, как сто сифонов,  
ста медалями увенчан,  
стольким ноги поувечил.

Левый крайний, милый мой,  
ты играешь головой!

О, атака до угара!  
Одурение удара.  
Только мяч,  
мяч,  
мяч,  
только — вмажь,  
вмажь,  
вмажь!

«Наши — ваши» — к Богу в рай...  
Ай!  
Что наделал левый край!..

Мяч лежит в своих воротах.  
Солнце черной сковородкой.  
Ты уходишь, как горбун,  
под молчание трибун.

Левый крайний...

Не сбываются мечты,  
с ног срезаются мячи.  
И под краном  
ты повинный чубчик мочишь,  
ты горюешь  
и бормочешь:  
«А ударчик — самый сок,  
прямо в верхний уголок!»

## Поют негры

Мы —  
тамтамы гомеричные с глазами горемычными,  
клубимся, как дымы, —  
мы...

Вы —  
белы, как холодильники, как марля карантинная,  
безжизненно мертвы —  
вы...

О чем мы поем вам?

О  
руках ваших из воска как белая известка,  
о, как впечатались между плечей печальных,  
о, наших жен печальных,  
как их позорно жгло — о-о!

«Н-но!» —  
нас лупят, точно клячу, мы чаевые клянчим,  
на рингах и на рынках у нас в глазах темно,  
но,  
когда ночами спим мы, мерцают наши спины,  
как звездное окно.

В нас,  
боксерах, гладиаторах, как в черных радиаторах  
или в пруду карась,  
созвездья отражаются торжественно и жалостно —  
Медведица и Марс —  
в нас...

Мы — негры, мы, поэты,  
в нас плещутся планеты.  
Так и лежим, как мешки, полные звездами и легендами...

Когда нас бьют ногами —  
пинают небосвод.  
У вас под сапогами  
Вселенная орет!



\*\*\*

Друг, не пой мне песню про Сталина.  
Эта песенка не простая.  
Непроста усов седина.  
То хрустальна, а то мутна.

Как плотина усы блистали,  
как присяга иным векам.  
Партизаночка шла босая  
к их сиянию по снегам.

Кто в них верил? И кто в них сгинул,  
как иголка в седой копне?  
Их разглаживали при гимне.  
Их мочили в красном вине.

И торжественно над страной,  
словно птица страшной красы,  
плыли с красной бахромою  
государственные усы...



## Нью-йоркская птица

На окно ко мне садится  
в лунных вензелях  
алюминиевая птица —  
вместо тела  
фюзеляж

и над ее шеей гайковой  
как пламени язык  
над гигантской зажигалкой  
полыхает  
женский  
лик!

(В простынь капиталистическую  
завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?  
полуробот? полудух?  
помесь королевы блюза  
и летающего блюда?

может ты душа Америки  
уставшей от забав?  
кто ты юная химера  
с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая  
не отерши крем ночной  
очи как на Мичигане  
у одной

у нее такие газовые  
под глазами синячки

птица что предсказываешь?  
птица не солги!

что ты знаешь, сообщаешь?  
что-то странное извне  
как в сосуде сообщающемся  
подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я ору. И, матерясь,  
мой напарник, как ошпаренный,  
садится на матрас.)

**Напоили**

Напоили.  
Первый раз ты так пьяна,  
на пари ли?  
Виновата ли весна?  
Пахнет ночью из окна  
и полынью.  
Пол — отвесный, как стена...  
Напоили.

Меж партнеров и мадам  
синеглазо  
бродит ангел вдребадан,  
семиклашка.

Ее мутит. Как ей быть?  
Хочет взрослою побыть.

Кто-то вытащит ей таз  
из передней  
и наяривает джаз,  
как посредник:

«Все на свете в первый раз,  
не сейчас —  
так через час,  
интересней в первый раз,  
чем в последний...»

Но чьи усталые глаза  
стоят в углу,  
как образа?  
И не флиртуют, не манят —  
они отчаяньем кричат.

Что им мерещится в фигурке  
между танцующих фигур?

И как помада на окурках,  
на смятых пальцах  
маникюр.

## Флорентийские факелы

*З. Богуславской*

Ко мне является Флоренция,  
фосфоресцируя домами,  
и отмыкает, как дворецкий,  
свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал  
для бань, для стадиона в Кировске,  
спит Баптистерий, как развитие  
моих проектов вырезвителя.

Дитя соцреализма грешное,  
вбегаю в факельные площади,  
ты — калька с юности, Флоренция!  
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,  
как сквозь восковку,  
восходят судьбы и фигуры  
моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,  
меж вьющихся интервьюеров,  
как ангелы или лакеи,  
стоят за креслами, глазел.

А факелы над черным Арно  
необъяснимы —  
как будто в огненных подфарниках  
несутся в прошлое машины!

Ау! — зовут мои обеты.  
Ау! — забытые мольберты,  
и сигареты,  
и спички сквозь ночные пальцы.

Ау! — сбегаются палаццо, —  
авансы юности опасны! —  
попался?!

И между ними мальчик странный,  
еще не тронутый эстрадой,  
с лицом, как белый лист тетрадный,  
в разинутых подошвах с дратвой —  
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаеть!  
Преуспевающий пай-мальчик.  
Вас заграницы издают.  
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?  
И по кому прощально факелы  
над флорентийскими хоромами  
летят свежо и похоронно?..»

Я занят. Я его прерву.  
Осточертели интервью.

Сажусь в машину. Дверцы мокры.  
Флоренция летит назад.  
И как червонные семерки  
палаццо в факелах горят.



\*\*\*

*Б. Ахмадулиной*

Нас много. Нас может быть четверо.  
Несемся в машине как черти.  
Оранжеволоса шоферша.  
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,  
нездешняя ангел на вид,  
люблю твой фарфоровый профиль,  
как белая лампа горит!

В аду в сквородки долдонят  
и вышлют к воротам патруль,  
когда на предельном спидометре  
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,  
хрустально, как тексты в хорале,  
ты скажешь: «Какая печаль!  
права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение скорости  
в возбужденном состоянии...  
А шла я вроде нормально...»

Не порть себе, Белочка, печень.  
Сержант нас, конечно, мудрей,  
но нет твоей скорости певчей  
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта  
нести, позабыв про ОРУД,  
брать звуки со скоростью света,  
как ангелы в небе поют.

За эти года световые  
пускай мы исчезнем, лучась,  
пусть некому приз получать.  
Мы выжали скорость впервые.

Жми, Белка, божественный кореш!  
И пусть не собрать нам костей.  
Да здравствует певчая скорость,  
убийственнейшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?  
Нас мало. Нас может быть четверо.  
Мы мчимся — а ты божество!

И все-таки нас большинство.

## Итальянский гараж

*Б. Ахмадулиной*

Пол — мозаика  
как карась.  
Спит в палаццо  
ночной гараж.

Мотоциклы как сарадины  
или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты —  
дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто  
отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.  
Что вам снится,  
ночной гараж?

Алебарды?  
или тираны?  
или бабы  
из ресторана?..

Лишь один мотоцикл притих —  
самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра — Святки.  
Завтра он разобьется всмятку!

Апельсины, аплодисменты...  
Расшибающиеся —  
бессмертны!

Мы родились — не выживать,  
а спидометры выжимать!..

Алый, конченный, жары! Жары!  
Только гонщицу очень жаль...

Стоял Январь, не то Февраль,  
какой-то чертовый Зимарь.

Я помню только голосок  
над красным ротиком — парок

и песенку:

«Летят вдали  
красивые осенебри,

но если наземь упадут,  
их человолки загрызут...»

Рим гремит, как аварийный  
отцепившийся вагон.  
А над Римом, а над Римом  
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки  
из окон,  
из окон,  
ну, а этот забулдыга  
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,  
как летающий тарел,  
вылетает муж из спальни —  
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.  
Он гласит: «Долой невежд!  
Не желаю прошлогоднего.  
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье.  
И летят, как лист в леса,  
телеграммы,  
объявления,  
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем  
в превращениях твоих,  
шкурой сброшенной питона  
светят древние бетоны.  
Сколько раз ты сбросил их?  
Но опять тесны спидометры

твоим аховым питомицам.  
Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет,  
расставаясь со старьем.  
Что-то в нас смениться хочет?  
Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки,  
будущим поглощены.  
Что в нас плачет, отделившись?  
Оленихи, отелившись,  
так добры и смущены.

Может, будет год нелегким?  
Будет в нем погод нелетных?  
Не грусти — не пропадем.  
Будет, что смахнуть потом.

Мы летим, как с веток яблоки.  
Опротивела грызня.  
Но я затем живу хотя бы,  
чтоб среди ветреного дня,  
детектив глотнувши залпом,  
в зимнем доме косолапом  
кто-то скажет, что озябла  
без меня,  
    без меня...

И летит мирами где-то  
в мрак бесстрастный, как крупье,  
наша белая планета,  
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.  
Кем-то станет — свистуном?  
Или черной, как грачонок,  
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым  
не случилось непогод...  
А над Римом, а над миром —  
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,  
и сквозь юбки до утра  
лампами сквозь абажуры  
светят женские тела.



## Рублевское шоссе

Мимо санатория  
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —  
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,  
резкой белизной  
за ними блещут женщины,  
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,  
рвется от руля;  
вонзайтесь в мои плечи.  
белые крыла.

Улечу ли?  
Кану ль?  
Соколом ли?  
Камнем?

Осень. Небеса.  
Красные леса.

## Прощание с Политехническим

В Политехнический!  
В Политехнический!  
По снегу ф́ары шипят яичницей.  
Милиционеры свистят панически.  
Кому там хнычется?!  
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!  
А ну, шарахни  
по совмещанам свои затрецины!  
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура  
в серьгах-будильниках!  
Ваш рот, как дуло,  
разинут бдительно.  
Ваш стул трещит от перегрева.  
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,  
дымятся джемперы, пиджаки.  
Тысячерукий как бог языческий  
Твое Величество —  
Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.  
И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.  
Как ваши лица струятся матово.  
В них проступают, как сквозь экраны,  
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,  
с копной на лбу,

я вас не знаю.  
Я вас — люблю!

Чему смеетесь? над чем всплакнете?  
и что черкнете, косясь, в блокнотик?

что с вами, синий свитерок?  
в глазах тревожный ветерок...

Придут другие — еще лиричнее,  
но это будут не вы —  
другие.  
Мои ботинки черны как гири.  
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить не долго. Суть не в овациях.  
Мы растворяемся в людских количествах  
в твоих просторах,  
Политехнический.  
Невыносимо нам расставаться.

Ты на кого-то меня сменяешь,  
но, понимаешь,  
пообещай мне, не будь чудовищем,  
забудь со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.  
Политехнический —  
моя Россия! —  
ты очень бережен и добр, как Бог,  
лишь Маяковского не уберег.

Поэты падают,  
дают финты  
меж сплетен, патоки  
и суеты,

но где б я ни был — в земле, на Ганге  
ко мне прислушивается  
магически  
гудящей раковиною гиганта  
большое ухо  
Политехнического!

## **Антимиры**



\*\*\*

Я сослан в себя  
я — Михайловское  
горят мои сосны смыкаются

в лице моем мутном как зеркало  
сморкаются лоси и перголы

природа в реке и во мне  
и где-то еще — извне

три красные солнца горят  
три рощи как стекла дрожат

три женщины брезжут в одной  
как матрешки — одна в другой

одна меня любит смеется  
другая в ней птицей бьется

а третья — та в уголок  
забилась как уголек

она меня не простит  
она еще отомстит

мне светит ее лицо  
как со дна колодца —  
кольцо

## Замерли

Заведи мне ладони за плечи,  
обойми,  
только губы дыхнут об мои,  
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,  
что замкнулись за нами сейчас.  
Мы заслушаемся, прислонясь.  
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад  
заслоняем своими плечами  
возникающее меж нами —  
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,  
свои форточки отвори.  
В моих порах  
стрижами заплещутся  
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.  
Неужели под свистопад  
разомкнемся немим извалньем —  
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,  
на скорлупы упругие спин!  
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

**Лень**

Благословенна лень, томительнейший плен,  
когда проснуться лень и сну отдаться лень,

лень к телефону встать, и ты через меня  
дотянешься к нему, переутомлена,

рождающийся звук в тебе как колокольчик  
и диафрагмою мое плечо щекочет.

«Билеты?—скажешь ты.—Пусть пропадают. Лень».  
Томительнейший день в нас переходит в тень.

Лень — двигатель прогресса. Ключ к Диогену — лень.  
Я знаю, ты — прелестна! Все остальное — тлен.

Вселенная горит? до завтраго потерпит!  
Лень телеграмму взять — заткните под портьеру.

Лень ужинать идти. Лень выключить «трень-брень».  
Лень.  
И лень окончить мысль. Сегодня воскресенье...

Колхозник на дороге  
разлегся подшофе  
сатиром козлоногим,  
босой и в галифе.



## Конспиративная квартира

Мы — кочевые, мы — кочевые,  
мы, очевидно,  
сегодня чудом переночуем,  
а там — увидим!

Квартиры наши конспиративны,  
как в спиритизме,  
чужие стены гудят как храмы,  
чужие драмы,  
со стен пожаром холсты и схимники...  
а ну пошарим —  
        что в холодильнике?

Не нас заждался на кухне газ,  
и к телефонам зовут не нас,

наиродное среди чужого,  
и как ожоги,

чьи поцелуи горят во тьме,  
еще не выветрившиеся вполне?..

Милая, милая, что с тобой?  
Мы эмигрировали в край чужой,

ну что за город, глухой как чушки,  
где прячут чувства?

Позорно пузо растить чинуше —  
но почему же,

когда мы рядом, когда нам здорово —  
что ж тут позорного?

Опасно с кафедр нести напраслину —  
что ж в нас опасного?

Не мы опасны, а вы лабазны,  
людыё, которым любовь опасна!

Вы опротивели, конспиративные!..  
Поджечь обои? вспороть картины?  
об стены треснуть сервиз, съезжая?..

«Не трожь тарелку — она чужая».

## Баллада-яблоня

*В. Катаеву*

Говорила биолог, молодая и зяблая, —  
это летчик Володя  
целовал меня в яблонях.  
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,  
он на яблоню выплеснул  
свою чистую  
кровь!

*Яблоня ажнула,  
это был первый стон яблони,  
по ней пробежала дрожь  
негодования и восторга,  
была пора завязей,  
когда чудо зарождения  
высвобождаясь из тычинок,  
пестиков, ресниц,  
разминается в воздухе.  
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?  
Телу яблоневу от тебя тяжелесть.

Как ревную я к стонущему стволу.  
Ночью нож занесу, но бессильно стою —  
на меня, точно фары из гаража,  
мчатся  
яблоневые глаза!

*Их 19.*

*Они по три в ряд на стволе,  
как ленточные окна.  
Они раздвигают кожу, как дупла.  
Другие восемь узко растут из листьев.  
В них ненависть, боль, недоумение —*

*что? что?*

*что свершается под корой?*

*кожу жжет тебе известь?*

*кружит тебя кровь?*

*Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,  
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как  
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна,  
чем полна большеглазо —  
не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?

Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.

Нас зовет к невозможнейшему любви!

А бывает, проснешься — в тебе звездопад,  
тополиные мысли, и листья шумят.

*По генетике*

*у меня четверка была.*

*Люди — это память наследственности.*

*В нас, как муравьи в банке,*

*напиханно шевелятся тысячелетия,*

*у меня в пятке щекочет Людовик XIV.*

*Но это?.. Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?*

*Или это биочудо? Где живут дево-деревья?*

*Как женщины пахнут яблоком!..*

...А 30-го стало ей невмоготу.

Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по полям,

смертельно орет

и зовет

удаляющийся

самолет.

## Охота на зайца

*Ю. Казакову*

Травят зайца! Несутся суки.  
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.  
И оранжевые кожухи  
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,  
я, завгар, лейтенант милиции,  
лица в валенках, в хроне лица,  
зять Букашкина с пацаном —

газанем!

«Газик», чудо индустриализации,  
наворачивает цепя.  
Трали-вали! Мы травим зайца.  
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?  
Юрка, в этом что-то неладное,  
если в ужасе по снегам  
скачет крови  
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,  
ослепленная и извечная,  
она нынче вопит: зайчатины!  
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,  
он лежал, трепыхался слева,  
словно серое сердце леса,  
тишины.

Он лежал, синеву боков  
он вздымал, он дышал пока еще,  
как мучительный глаз,  
моргающий,  
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,  
он возник,  
и над лесом, над черной речкой  
резанул  
человечий  
крик!

*Звук был пронзительным и чистым, как  
ультразвук или как крик ребенка.  
Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!  
Это была нота жизни. Так кричат роженицы.*

Так кричат перелески голые  
и немые досель кусты,  
так нам смерть прорезает голос  
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,  
роща, озеро ли, бревно —  
им позволено слушать, чувствовать,  
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.  
Это жизнь, удаляясь, пела,  
вылетая, как из силка,  
в небосклоны и облака.

*Это длилось мгновение, мы окаменели,  
как в остановившемся кинокадре.  
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.*

Четыре черные дробинки, не долетев,  
вонзились в воздух.  
Он взглянул на нас. И — или это нам показало-  
сь — над горизонтальными мышцами  
бегуна, над запекшимися шерстинками шеи  
блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,  
как на фресках Феофана.  
Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил. Как бы слился с криком.  
Он повис...  
С искаженным и светлым ликом,  
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...  
Плыл туман золотой к лесам.  
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.  
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.  
Ветер рожу драл, как наждак.  
Как багровые светофоры,  
наши лица неслись во мрак.

**Ночь**

Сколько звезд!  
Как микробов  
в воздухе...



## Больная баллада

В море морозном, в море зеленом  
можно застынуть в пустынных салонах.  
Что опечалилась, милый товарищ?  
Заболеваешь, заболеваешь?

Мы запропали с тобой в теплоход  
в самый канун годовщины печальной.  
Что, укачало? Но это пройдет.  
Все образуется, полегчает.

Ты в эти ночи родила меня,  
женски, как донор, наполнив собою.  
Что с тобой, младшая мама моя?  
Больно?

Милая, плохо? Планета пуста,  
Официанты бренчат мелочишкой.  
Выйдешь на палубу — пар изо рта,  
не докричишься, не докричишься.

К нам, точно кошка, в каюту войдет  
затосковавшая проводница.  
Спросит уютно: чайку, молодежь,  
или чего-нибудь подкрепиться?

Я, проводница, слезами упьюсь,  
и в годовщину подобных кочевий  
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс  
быть на качелях.

«Любят — не любят», за качку в мороз,  
что мы сошлись в этом мире кержацком,  
в наикачаемом из миров  
важно прижаться.

Пьем за сварливую нашу родню,  
воют, хвативши чекушку с прицепом.  
Милые родичи, благодарю.  
Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.  
Благожелатели виснут на шею.  
Ворот теснит, и удача тошна,  
только тошнее

знать, что уже не болеть ничему,  
ни раздражения, ни обиды.  
Плакать начать бы, да нет, не начну.  
Видно, душа, как печенка, отбита...

Ну а пока что — да здравствует бой.  
Вам еще взвыть от последней обоймы.  
Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

**Автопортрет**

Он тощ, точно сучья. Небрит и мордаст.  
Под ним третьи сутки  
трещит мой матрас.  
Чугунная тень по стене нависает.  
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик, — хрипит он, — российской поэзии.  
Вам дать пистолетик? А может быть, лезвие?  
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к хаосу...  
А может, покаемся?..  
Послюним газетку и через минутку  
свернем самокритику как самокрутку?»

Зачем он тебя обнимает при мне?  
Зачем он мое примеряет кашне?  
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня, чур!  
SOS! SOS!

\*\*\*

Сколько свинцового яда влито,  
сколько чугунных лжей...

Мое лицо  
никак не выжмет  
штангу  
ушей...

## Записка Е. Яницкой, бывшей машинистке Маяковского

Вам Маяковский что-то должен.  
Я отдаю.  
Вы извините — он не дожил.

Определяет жизнь мою  
платить за Лермонтова, Лорку  
по нескончаемому долгу.

Наш долг страшон и протяжен  
крово-красным платежом.

Благодарю, отцы и прадеды.  
Крутись, эпохи колесо...  
Но кто же за меня заплатит,  
за все расплатится, за все?

\*\*\*

Сирень похожа на Париж,  
горящий осами окошек.  
Ты кисть особняков продрогших  
серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,  
страшон от счастья и тоски,  
Париж,  
как пчелы,  
собираю  
в мои подглазные мешки.

## Париж без рифм

Париж скребут. Париж парадят.  
Бьют пескоструйным аппаратом.  
Матрон эпохи рококо  
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —  
содрать с предметов слой наружный,  
увидеть мир без оболочек,  
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,  
но наш патрон, мадам Ланшон,  
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»  
И вдруг —

*город преобразился,  
стены исчезли, вернее, стали  
прозрачными,  
над улицами, как связки цветных шаров,  
висели комнаты,  
каждая освещалась по-разному,  
внутри, как виноградные косточки,  
горели фигуры и кровати,  
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,  
над столом  
коричнево изгибался чай, сохраняя форму  
чайника,  
и так же, сохраняя форму водопроводной  
трубы,  
по потолку бежала круглая серебряная вода,  
в соборе Парижской Богоматери шла месса,  
как сквозь аквариум,  
просвечивали люстры и красные кардиналы,  
архитектура испарилась,*

*и только круглый витраж розетки  
почему-то парил над площадью, как знак:  
«Проезд запрещен»,  
над Лувром из постаментов,  
как 16 матрасных пружин,  
дрожали каркасы статуй,  
пружины были во всем,  
все тикало,*

о Париж,  
мир паутинок, антенн и оголенных  
проволочек,  
как ты дрожишь,  
как тикаешь мотором гоночным,  
о сердце под лиловой пленочкой,  
Париж

*(на месте грудного кармашка, вертикальная,  
как рыбка  
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!*

Париж, как ты раним, Париж,  
под скорлупою ироничности,  
под откровенностью, граничащей  
с незащищенностью.  
Париж,

в Париже вы одни всегда,  
хоть никогда не в одиночестве,  
и в смехе грусть,  
как в вишне косточка,  
Париж — горящая вода,

*Париж,  
как ты наоборотен,  
как бел твой Булонский лес,  
он юн, как купальщицы,  
бежали розовые собаки,  
они смущенно обнюхивались,  
они могли перелиться одна в другую,  
как шарики ртути,  
и некто, голый, как змея,  
промолвил: «Чернобурка я»,*



*шли люди,  
на месте отвинченных черепов,  
как птицы в проволочных  
клетках,  
свистали мысли,*

*монахиню смущали мохнатые мужские  
видения,  
президент мужского клуба потрясаясь  
разоблачениями  
(его тайная связь с женой раскрыта,  
он опозорен),*

над полисменом ножки реяли,  
как нимб, в серебряной тарелке  
плыл шницель над певцом мансард,  
в башке ОАСа оголтелой  
дымился Сартр на сковородке,  
а Сартр,  
наш милый Сартр,  
задумчив, как кузнечик кроткий,  
жевал травиночку коктейля,  
всех этих таинств  
мудрый дух  
в соломинку, как стеклодув,  
он выдул эти фонари,  
весь полый город изнутри,  
и ратуши и бюшери,  
как радужные пузыри!

Я тормошу его:  
«Мой Сартр,  
мой сад, от зим не застекленный,  
зачем с такой незащищенностью  
шары мгновенные  
летят?»

Как страшно все обнажено,  
на волоске от ссадин страшных,  
их даже воздух жжет, как рашпиль,  
мой Сартр!  
Вдруг все обречено?!»

Молчит кузнечик на листке  
с безумной мукой на лице.

*Било три...*

*Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,  
в зубах джазиста изгибался звук в форме  
саксофона,*

*женщина усмехнулась.*

*«Стриптиз так стриптиз», —*

*сказала женщина,*

*и она стала сдирать с себя не платье, нет, —  
кожу! —*

*как снимают чулки или трикотажные  
тренировочные костюмы.*

*—О! о!—*

*последнее, что я помню, это белки,  
бесстрастно-белые, как изоляторы,  
на страшном, орущем, огненном лице...  
«...Мой друг, растает ваш гляссе...»*

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.

А за окном летят в веках

мотоциклисты в белых шлемах,

как дьяволы в ночных горшках.

\*\*\*

*Ж.-П. Сартру*

Я — семья  
во мне как в спектре живут семь «я»

невыносимых как семь зверей  
а самый синий  
свистит в свирель!

а весной  
мне снится  
что я — восьмой

I

Продай меня, Марше О Пюс,  
упьюсь  
этой грустной барахолкой,  
смесью блюза с баркаролой,  
самоваров, люстр, свечей,  
воет зоопарк вещей  
по умчавшимся векам —  
как слонихи по лесам!..

перстни, красные от ржави,  
чьи вы перси отражали?

как скорлупка, сброшен панцирь,  
чей картуш?  
вещи — отпечатки пальцев,  
вещи — отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,  
храм хламья, Марше О Пюс,  
мусор, музыкою ставший!  
моя лучшая из муз!

расшатавшийся диван,  
куда девах своих девал?

почем века в часах песочных?  
чья замша стерлась от пощечин?

продай меня, Марше О Пюс,  
архаичным становлюсь:  
устарел, как Робот-6,  
когда Робот-8 есть.

## II

Печаль моя, Марше О Пюс,  
как плющ,  
вьется плесень по кирасам,  
гвоздь сквозь плющ повылезал —  
как в скульптурной у Пикассо —  
железяк,  
железяк!

помню, он в штанах расшитых  
вещи связывал в века,  
глаз вращался, как подшипник,  
у виска,  
у виска!

я читал ему, подрагивая,  
эхо ухает,  
как хор,  
персонажи из подрамников  
вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,  
душ разрезы анатомные,  
вертикальны и косы,  
как песочные часы,

снег заносит апельсины,  
пляж, фигурки на горах,  
мы — песчинки,  
мы печальны, как песчинки,  
в этих дьявольских часах...

## III

Марше О Пюс, Марше О Пюс,  
никого не дозовусь.

пустынны вещи и страшны,  
как после атомной войны.  
Я вещь твоя, XX век,  
пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,

архангел из болтов и гаек  
мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,  
тогда, О Пюс, к себе пусти меня,  
приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен, как в пустыне  
раскопанный ракетодром.

## Олененок

## I

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?..»

Это блуждает в крови, как иголка...  
Ну почему — призадумуюсь только —  
передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,  
с джазом простуженным туфелькой хрусткая,  
как несуразно в парижских альковах —  
«Ольга» —  
как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!  
В разных глазах породнили пронзительно  
смутный витраж нотр-дамской розетки  
с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,  
Ольга французская с русской Ольгой.

## II

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рощица, что ли...  
Помню, ведро по ноге холодило —  
хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?  
Некатолический вижу обряд,  
а за калиточкой росно и колко...

Как вам живется, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой Рено — как игрушка,  
плачу по-русски, смеюсь по-французски..  
Я парижанка. Ночами люблю  
слушать, щекою прижавшись к рулю».

Руки лежат как в других государствах.  
Правая бренди берет как лекарство.  
Левая вправлена в псковский браслет,  
а между ними — тысячи лет.

Горе застыло в зрачках удлинённых,  
о олененок,  
вмерзший ногами на двух нелюдимых  
и разъезжающихся  
льдинах!

### III

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.  
Утром звонок: «Эксюзе, бога ради!  
Я полурусская... с именем Ольга...  
Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!..



## Ирена

Ирена проводит меня за кулисы.  
Ирена ноздрями дрожит, закуривши.  
В плечах отражаются лампы, как ложки.  
Он потен — Ирена.  
Он дышит, как лошадь.

Здесь кремы и пудры — как кнопки от пульта.  
Звезда кабаре,  
современная ультра,  
упарится парень (жмет тужелька, стерва!),  
а дело есть дело,  
и тело есть тело!

Ирена мозоль деловито потискивает...

...Притих ресторан, как капелла Сикстинская.  
Тревожно.  
Лакеи разносят смиренно  
меню как Евангелие от Ирены:

«Богиней помад, превращений,  
измены,  
прекрасный Ирена,  
на наглых ногах, усмехаясь презренно,  
сбегает с арены!

Он — зеркало времени, лжив, как сирена,  
любуйтесь Иреной!  
Мужчины, вы — бабы, они ж — бизнесмены,  
пугайтесь Ирены!

Финал мирозданья, не снившийся Брему,  
вихляет коленями...  
О две параллели, назло теореме  
скрещенных в Ирене!

«Ирена, ку-ку!» Кидайте же тугрики  
от Сены до Рейна  
под бритые икры в серебряной  
туфельке!  
Молитесь Ирене!»

Куря за кулисой, с цветными ресницами  
глядел в меня парень пустыми глазницами.  
И, как микеланджеловские скрижали,  
на потных ногах полотенца лежали.

Старухи,  
старухи —  
стоухи,  
сторуки,

мудры  
по-паучьи,  
сосут авторучки,  
старухи в сторонке,  
как мухи,  
стооки,

их щеки из теми  
горящи и сухи,  
колдуют в «системах»,  
строчат закорюки,

волнуются бестии,  
спрут электрический...

О оргии девственниц!  
Секс платонический!

В них чувственность ноет,  
как ноги в калеке...  
Старухи сверхзнойно  
рубают в рулетку!

Их общий любовник  
разлегся, разбойник.  
Вокруг, как хоругви,  
робеют старухи.

Ах, как беззаветно  
в них светятся муки!..  
Свои здесь  
Джульетты,  
мадонны и шлюхи,

как рыжая страстна!  
А та — ледяная,  
а в шляпке из страуса  
крутит динаму,

трепещет вульгарно,  
ревнует к подруге.  
Потухли вулканы,  
шуруйте, старухи.

...А с краю, моргая,  
сияет бабуся:  
она промотала  
невесткины  
бусы.

## Поэт в Париже

*Уличному художнику*

Лили Брик на мосту лежит,  
разутюженная машинами.  
Под подошвами, под резинами,  
как монетка, зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.  
И, как рана,  
Маяковский, щемяще ранний,  
как игральная карта в рамке,  
намалеван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!  
Это надо ж — рвануть судьбой,  
чтобы ликом, как Хиросимой,  
отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,  
Сена плещется под спиной.  
И, как божья коровка, автобусик  
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..  
Мост парит,  
ночью в поры свои асфальтовые,  
как сирень, впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.  
Льнул к мостам. Был бастард Земли...  
Никто не пришел на Вашу выставку, Маяковский,  
Мы бы — пришли.

О, свинцовую пломбочкой ночью  
опечатанные уста.  
И не флейта Ваш позвоночник —  
алюминиевый лет моста!

Вам шумят стадионов тысячи.  
Как Вам думается?  
Как дышится,  
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу,  
полоснувши по небосводу  
красным следом от самолета,  
точно бритвою по лицу.

## Муромский сруб

Деревянный сруб,  
деревянный друг,  
пальцы свел в кулак  
деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,  
подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль  
над скамейкою замшелой, как пицаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал  
по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.  
Плакать — дело, недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели  
эти пальцы деревянные твои...

Отшельничаю, берлогу,  
отлеживаюсь в березах,  
лужаечный, можжевельничий,  
отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,  
наш третий всегда на стреме,  
позвякивает ошейничком,  
отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,  
а те, что мы были прежде,  
как наши пустые одежды,  
валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,  
далекие, как при Рюрике  
(дрались, мельтешили, дулись),  
какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка  
сквозь холм в лесовых массивах  
просвечивает, как косточка  
просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,  
мы зерна в зеленой мякоти,  
притягиваем, как соки,  
все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,  
турбазники сквозь кустарник  
пройдут, постоят, как лоси,  
растают,



умаялась бегать по лесу,  
вздремнула, ко мне припавши,  
и тенью мне в кожу пористую  
впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,  
лесами твоими, тропинками,  
читаю твое лицо,  
как легкое озерцо,

как ты изменилась, милая,  
как ссадина, след от свитера,  
но снова как разминированная —  
спасенная? спасительная!

ты младше меня? старше!  
на липы, глаза заставшие,  
наука твоя вековая  
ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,  
как чисто у речки бисерной  
дочурка твоя трехлетняя  
писает по биссектриске!

«мой милый, теперь не денешься,  
ни к другу и ни к врагу,  
тебя за щекой, как денежку,  
серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,  
гроза прошла, не волнуйся,  
леса твои островные  
печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,  
как ночь растворяет день,  
как окна в сад растворяются  
и всасывают' сирень,

и это круговращение  
щемяще, как возвращенье...

Куда б мы теперь ни выбыли,  
с просвечивающих холмов  
нам вслед  
улетает Сигулда,  
как связка  
зеленых  
шаров!

\* \* \*

Шарф мой, Париж мой,  
серебряный с вишней,  
ну, натворивший!

Шарф мой — Сена волосяная,  
как ворсисто огней сиянье,

шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,  
фары шоферов дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,  
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,  
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,  
как примеряла она первоклассно,  
лаковым пальчиком с отсветом улиц  
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,  
душный город на шее ношу.

*Э. Межелайтису*

Жизнь моя кочевал  
стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.  
Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновых  
в облаке пуха, крика  
крыльями трехметровыми  
узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной  
пленницею, царевной,  
чуткою и жемчужной,  
дышащею кольчужной.

К ней подбегут биологи:  
«Цаце надеть брелоки!»  
Бережно, не калеча,  
цап! — и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,  
послеоперационная,  
вольная, то есть пленная,  
целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,  
лунатиками в кальсонах —  
вольная, то есть пленная,  
чистая — окольцованная,

жалуется над безднами  
участь ее двойная;  
на небесах — земная,  
а на земле — небесная,

над пацанами, ратушами,  
над циферблатом Цюриха,  
если, конечно, раньше  
пуля не раскольцует,

как бы ты ни металась,  
впилась браслетка змейкой,  
привкус того металла  
песни твои изменит —

с неразличимой нитью,  
будто бы змей ребячий,  
будешь кричать над Нидой,  
пристальной и рыбачьей.

**Ахилгесово сердце**



\*\*\*

Ну что тебе надо еще от меня?  
Чугунна ограда. Улыбка темна.  
Я музыка горя, ты музыка лада,  
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена  
прославил. Такие отгрохал лампы!  
Ты музыка счастья, я нота разлада.  
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты ангел?» — я лгал, как змея.  
Сказала: «Будь смел» — не вылезил из спален.  
Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,  
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.  
Последний горит под твоим снегопадом.  
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,  
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:  
«Пусть я удобренье для Божьего сада,  
ты — музыка чуда, но больше не надо!  
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.  
И вышла усталая и без наряда.  
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.  
Ну что тебе надо еще от меня?»



\*\*\*

Матери сиротеют.  
Дети их покидают.

Ты мой ребенок,  
мама,  
брошенный мой ребенок.

## Плач по двум нерожденным поэмам

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!  
Хороним.  
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.  
Хороним.

На черной Вселенной любовниками  
отравленными  
лежат две поэмы,  
как белый бинокль театральный.  
Две жизни прижались судьбой половинной —  
две самых поэмы моих соловьиных!

Вы, люди,  
вы, звери,  
пруды, где они зарождались  
в Останкине, —

в с т а н ь т е!

Вы, липы ночные,  
как лапы в ветвях хиромантии, —  
встаньте,  
дороги, убитые горем,  
довольно валяться в асфальте,  
как волосы дыбом над городом, вы встаньте,

Раскройте, гробы,  
как складные ножи гиганта,  
вы встаньте, —  
Сервантес, Борис Леонидович,  
Данте,  
вы б их полюбили, теперь они тоже останки,  
встаньте.

И Вы, Член Президиума Верховного Совета  
товарищ Гамзатов,  
встаньте,  
погибло искусство, незаменимо это,  
и это не менее важно,  
чем речь на торжественной дате,  
встаньте.  
Их гибель — судилище. Мы — арестанты.  
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шел чисто и прямо,  
встань, мама.

Вы встаньте в Сибири,  
в Париже, в глухих  
городишках,  
встаньте,  
мы столько убили  
в себе, не родивши,  
встаньте,

Ландау, погибший в бухом лаборанте,  
встаньте,  
Коперник, погибший в Ландау галантном,  
встаньте,  
Вы, блядь из джаз-банда,  
вы помните школьные банты?  
Встаньте,

геройские мальчики вышли в герои, но в анти,  
встаньте  
(я не о кастратах — о самоубийцах,  
кто саморастратил  
святые крупницы),  
встаньте.

Погибли поэмы. Друзья мои в радостной  
панике —  
«Вечная память!»  
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике плавать,  
вечная память,  
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?

Вечная память,  
где принц ваш, бабуся?  
А девственность можно хоть в рамку обрамить  
вечная память,  
зеленые замыслы, встаньте как пламень,  
вечная память,  
мечта и надежда, ты вышла на паперть?  
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.  
Себя промолчали — все ждали погоды.  
Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить.  
Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей как мамонт,  
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь траву, —  
Вечная слава!  
Вечная слава!

## Зов озера

Повзнер 1903, Бирман 1938, Бирман 1941, Дробот 1907...

Наши кеды как приморозило.  
Тишина.  
Гетто в озере. Гетто в озере.  
Три гектара живого дна.

Гражданин в пиджачке гороховом  
зазывает на славный клев,  
только кровь  
на крючке его крохотном,  
кровь!

«Не могу, — говорит Володька, —  
а по рылу — могу,  
это вроде как  
не укладывается в мозгу!

Я живою водой умоюсь,  
может, чью-то жизнь расплещу.  
Может, Машеньку или Мойшу  
я размазываю по лицу.

Ты не трожь воды плоскодонкой,  
уважаемый инвалид,  
ты пощупай ее ладонью —  
болит!

Может, так же не чьи-то давние,  
а ладони моей жены,  
плечи, волосы, ожидание  
будут кем-то растворены?

А базарами колоссальными  
барабанит жабрами в жель

то, что было теплом, глазами,  
на колени любило сесть...

— Не могу, — говорит Володька, —  
лишь зажмурюсь —  
в чугунных ночах,  
точно рыбы на сквородках,  
пляшут женщины и кричат!

Третью ночь, как Костров пьет.  
И ночами зовет с обрыва.  
И к нему  
является  
рыба  
чудо-юдо озерных вод!

«Рыба,  
летучая рыба, с гневным лицом мадонны,  
с плавниками, белыми, как свистят паровозы,  
рыба,  
Рива тебя звали,  
золотая Риза,  
Ривка, либо как-нибудь еще,  
с обрывком  
колючки проволоки или рыболовным крючком  
в верхней губе, рыба,  
рыба боли и печали,  
прости меня,  
прокляни,  
но что-нибудь ответь...»

Ничего не отвечает рыба.

Тихо.  
Озеро приграничное.  
Три сосны.

Изумленнейшее хранилище  
жизни, облака, вышины.

Бирман 1941, Румер 1902, Бойко оба 1933.

1965

Закарпатский лейтенант,  
на плечах твоих погоны,  
точно срезы по наклону  
свежеспиленно слепят.

Не приносят новостей  
твои новые хирурги,  
век отпиливает руки,  
если кверху их воздеть!

Если вскинуть к небесам  
восхищенные ладони —  
«Он сдастся!» — задолдонят,  
или скажут — «диверсант»...

Оттого-то лейтенант  
точно трещина на сердце —  
что соседи милосердно  
принимают за талант.

Из закарпатского дневника

Я служил в листке дивизиона.  
Польза от меня дискуссионна.  
Я вел письма, правил опечатки.  
Кто только в газету не писал—  
горожане, войны, девчата,  
отставной начпрод Нравоучатов...  
Я всему признательно внимал.

Мне писалось. Начались ученья.  
Мчались дни.  
Получились строчки о Шевченко.  
Опубликовали. Вот они:

## Сквозь строй

И снится страшный сон Тарасу.  
Кушищем воющего мяса  
сквозь толпы, улицы,  
гримасы,  
сквозь жизнь, под барабанный вой,  
сквозь строй ведут его, сквозь строй!  
Ведут под коллективный вой;  
«Кто плохо бьет — самих сквозь строй».

Спиной он чувствует удары:  
Правофланговый бьет удало.  
Друзей усердных слышит глас;  
«Прости, старик, не мы — так нас».

За что ты бьешь, дурак господен?  
За то, что век твой безысходен!  
Жена родила дурачка.  
Кругом долги. И жизнь тяжка.

А ты за что, царек отечный?  
За веру, что ли, за отечество?  
За то, что перепил, видать?  
И со страной не совладать?

А вы, эстет, в салонах куксясь?  
(Шпицрутен в правой, в левой — кукиш.)  
За что вы столковались с ними?  
Что смел я то, что вам не снилось?

«Я понимаю ваши боли, —  
сквозь сон он думал, — мелкота,  
мне не простите никогда,  
что вы бездарны и убоги,  
вопит на снеговых заносах  
как сердце раненой страны  
мое в ударах и запозах  
мясное  
месиво  
спины!



Все ваши боли вымещая,  
эпохой сплющенных калек,  
люблю вас, люди, и прощаю.  
Тебя я не прощаю, век.  
Я верю — в будущем, потом...»  
.....  
Удар. В лицо сапог. Подъем.

\*\*\*

Ты пролетом в моих городках,  
ты пролетом  
в моих комнатах, баснях про Лондон  
и осенних черновиках,

я люблю тебя, мой махаон,  
оробевшее чудо бровастое.  
«Приготовьте билетики». Баста.  
Маханем!

Мало времени, чтоб мельтешить.  
Перелетные стонем пронзительно.  
Я пролетом в тебе,  
моя жизнь!  
Мы транзитны.

Дай тепла тебе львовский октябрь,  
дай погоды,  
прикорни мне щекой на погоны,  
беззащитною, как у котят.

Мы мгновенны? Мы после пойдем,  
если в жизни есть вечное что-то —  
это наше мгновенье вдвоем.  
Остальное — пролетом!

**Бьет женщина**

В чем ресторане, в чьей стране — не вспомнишь,  
но в полночь  
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,  
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,  
где взгляды липнут, словно листья банные?  
За что — неважно. Значит, им положено —  
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!  
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.  
Бей, женщина!  
Массируй им мордасы!  
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,  
что на земле давно матриархат —  
отбить,  
обуть,  
быть умной,  
хохотать —  
такая мука — непередаваемо!

Влепи ему в паяльник солоницу.  
Мужчины, рыцари,  
куда ж девались вы?!  
Так хочется к кому-то прислониться —  
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый танец.  
Не он, а ты его, отбивши, тянешь.  
Пол-литра купишь.  
Как он скучен, хрыч!  
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!  
А можно ли  
в капронах  
ждать в морозы?  
Самой восьмого покупать мимозы —  
можно?!

Виновные, валитесь на колени,  
колонны, люди, лунные аллеи,  
вы без нее давно бы околели!  
Смотрите,  
из-под грязного стола —  
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,  
шепчу в тебя бессвязными словами,  
сама к себе губами прислоняюсь  
и по тебе сползаю тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —  
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

**Лейтенант Загорин**

Я во Львове. Служу на сборах,  
в красных кронах, лепных соборах.  
Там столкнулся с судьбой моей  
лейтенант Загорин. Андрей.

*(Странно... Даже Андрей Андреевич. 1933. 174.  
Сапог 42. Он дал мне свою гимнастерку,  
Она сомкнулась на моей груди тугая  
как кожа тополя,  
И внезапно над моей головой зашумела чужая  
жизнь, судьба, как шумят кроны...  
«Странно», — подумал я...)*

Ночь.  
Мешая Маркса с Авиценной,  
спирт с вином, с луной Целиноград,  
о России  
рубят офицеры.  
А Загорин мой — зеленоглаз!

Ах, Загорин, помнишь наши споры?  
Ночь плыла.  
Женщина, сближая нас и ссоря,  
Стройно изгибалась у стола.

И как фары огненные манят —  
из его цыганского лица  
вылетал сжигающий румянец  
декабриста или чернеца.

Так же, может, Лермонтов и Пестель,  
как и вы, сидели, лейтенант.  
Смысл России  
исключает бездарь.  
Тухачевский ставил на талант.

Если чей-то череп застил свет,  
вы навывлет прошибали череп  
и в свободу  
глядели  
через —  
как глядят в смотровую щель!

Но и вас сносило наземь косо,  
сжав коня кусачками рейтуз.  
«Ах, поручик, биты ваши козыри».  
«Крюю сердцем — это пятый туз!»

Огненное офицерство!  
Сердце — ваш беспронгрышный бой.  
Амбразуры закрывает сердце.  
Гибнет от булавки  
болевой.

*На балкон мы вышли.  
Внизу шумел Львов.  
Он рассказал мне свою историю. У каждого  
офицера есть своя история. В этой была  
женщина и лифт.*

«Странно», — подумал я.

## Эскиз поэмы

22-го бросилась женщина из застрявшего  
лифта,  
где не существенно —  
важно в Москве —  
тронулся лифт  
гильотинною бритвой  
по голове!

Я подымаюсь.  
Лестница в пятнах.  
Или я спятил?  
И так до дверей.  
Я наступаю рифлеными пятками  
по крови твоей,  
по крови твоей,  
по крови твоей...

\* \* \*

«Милая, только выживи, вызволись из озноба,  
если возможно — выживи, ежели  
невозможно —  
выживи,  
тут бы чудо! — лишь неотложку вызвали...  
выживи!..

как я хамил тебе, милая, не покупал миндалю,  
милая, если только —  
шагу не отступлю...

Если только...»

\* \* \*

«Милый, прости меня, так послучалось.  
Просто сегодня





Мы как сосуды  
налиты синим,  
зеленым, карим,  
друг в друга сутью,  
что в нас носили,  
перетекаем.  
Ты станешь синей,  
я стану карим,  
а мы с тобою  
непрерываемо переливаемы  
из нас — в другое.  
В какие ночи,  
какие виды,  
чьих астрономов?  
Не остановишь —  
остановите! —  
не остановишь.  
Текут дороги,  
как тесто город,  
дома текучи,  
и чьи-то уши  
текут как хобот.  
А дальше — хуже!

А дальше...  
Все течет. Все изменяется.  
Одно переходит в другое.  
Квадраты расползаются в эллипсы.  
Никелированные спинки кроватей  
текут, как разварившиеся макароны.  
Решетки тюрем свисают,  
как кренделя или аксельбанты.  
Генри Мур,  
краснощекий английский ваятель,  
носился по бильярдному сукну  
своих подстриженных газонов.

Как шары блистали скульптуры,  
но они то расплывались как флюс,  
то принимали  
изящные очертания тазобедренных  
суставов.

«Остановитесь! — вопил Мур.— Вы прекрасны!..» —  
Не останавливались.

По улицам проплыла стайка улыбок.

На мировой арене, обнявшись,  
пытели два борца.

Черный и красный.

Их груди слиплись. Они стояли, походя сбоку  
на плоскогубцы, поставленные на попа.

Но-о ужас!

На красной спине угрожающе проступили  
черные пятна.

Просачивание началось.

Изловчившись, красный крутил ухо  
соперника

и сам выл от боли —

это было его собственное ухо.

Оно перетекло к противнику.

Мцхетский замок

сползал

по морщинистой коже плоскогорья,

как мутная слеза

обиды за человечество.

Букашкина выпустили.

Он вернулся было в бухгалтерию,

но не смог ее обнаружить,

она, реорганизуясь,

принимала новые формы.

Дома он не нашел спичек.

Спустился ниже этажом.

Одолжить.

В чужой постели колыхалась мадам

Букашкина.

«Ты как здесь?»

«Сама не знаю — наверно, протекла  
через потолок».

Вероятно, это было правдой.

Потому что на ее разомлевшей коже,  
как на разогревшемся асфальте,  
отпечаталась чья-то пятерня  
с перстнем.  
И почему-то ступня.

Радуга,  
зацепившись за два каких-то гвоздя в небе,  
лучезарно провисала,  
как ванты Крымского моста.  
Вождь племени Игого-жо искал новые формы  
перехода от коммунизма к капитализму.

Все текло вниз, к одному уровню,  
уровню моря.  
Обезумевший скульптор носился,  
лепил,  
придавая предметам одному ему понятные  
идеальные очертания,  
но едва вещи освобождались от его пальцев,  
как они возвращались к прежним формам,  
подобно тому, как расправляются  
грелки  
или резиновые шарики клизмы.

Лифт стоял вертикально над половодьем,  
как ферма,  
по колено в воде.

«Вверх — вниз!»  
Он вздымался, как помпа насоса,  
«Вверх — вниз!»  
Он перекачивал кровь планеты.

«Прячьте спички в местах, недоступных  
детям».  
Но места переместились и стали доступными.  
«Вверх — вниз».

Фразы бессильны. Словаслиплисьводнуфразу.  
Согласные растворились.

Остались одни гласные.  
«Оаьу аоии оаооаае!..»

Это уже кричу я.  
Меня будят. Суют под мышку ледяной  
градусник.

Я с ужасом гляжу на потолок.  
Он квадратный.

P. S.  
Мне снится сон. Я погружен  
на дно огромной шахты лифта.  
Дамоклово,  
неумолимо  
мне на затылок  
мчится  
он!

Вокруг кабины бьется свет,  
как из квадратного затмения,  
чужие смех и оживленье...  
Нет,  
я узнаю ваш гул участливый,  
герои моего пера,  
Букашкин, банщица с ушатом,  
пенсионер Нравоучатов,  
ах, милые, etc,

я создал вас, я вас тиранил,  
к дурацким вынуждал тирадам,  
благодарящая родня  
несется лифтом  
на меня,

я в клетке бьюсь, мой голос пуст,  
проносится в мозгу истошном,  
что я, и правда, бед источник,  
пусть!..

Но в миг, когда меня сомнет,  
мне хорошо непостижимо,  
что ты сегодня не со мной.  
И тем оставлена для жизни.

\* \* \*

Прости меня, что говорю при всех.

Одновременно открывают атом.  
И гениальность стала плагиатом.

Твое лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом впиваешься в экраны —  
украли!  
Другая примеряет, хохоча,  
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живешь — бежишь под шепот во дворе:  
«Ишь баба — как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.  
И я глазел, болельщик и лопух,  
как через страны,  
будто в волейбол,  
летит к другой лицо твое и боль!

Подранком, оторвавшимся от стаи,  
ты тянешься в актерские пристанища,  
ночами перед зеркалом сидишь,  
как кошка, выжидающая мышь.

Гулянками сбиваешь красоту,  
как с самолета пламя на лету,  
горячим полотенцем трешь со зла,  
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.  
А вдруг бы удалось тебя спасти!  
Не тот мужчина сны твои стерег.  
Он красоты твоей не уберег.

Не те постели застилали нам.  
Мы передоверялись двойникам,  
Наинеправимо непросты...  
Люблю тебя. За это и прости.

Прости за черноту вокруг зрачков,  
как будто ямы выдранных садов,—  
прости! —  
когда безумная почти  
ты бросилась из жизни болевой  
на камни  
ненавистной  
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалею.  
Вот я живу. И это тяжелей.

.....

Больничные палаты из дюраля.  
Ты выздоравливаешь.  
А где-то баба  
за морем орет.  
Ей жгут лицо глаза твои и рот.

\*\*\*

«Умирайте вовремя.  
Помните регламент...»  
Вороны,  
вороны  
надо мной горланят.

Ходит как посмешище  
трезвый несказанно  
Есенин неповесившийся  
с белыми глазами...

Обещаю вовремя  
выполнить завет —  
через тыщу  
лет!

## Из ташкентского репортажа

Помогите Ташкенту!

Озверевшим штакетником  
вмята женщина в стенку.

Помогите Ташкенту!

Если лес — помоги,  
если хлеб — помоги,  
если есть — помоги,  
если нет — помоги!

Ты рожаешь, Земля.  
Говорят, здесь красивые встанут массивы...

Но настолько ль красиво,  
чтоб живых раскрошило?

Я, Земля, твое семя,  
часть твоя — как рука или глаз.  
В сейсмоопасное время  
наша кровь убивает нас!

С материнской любовью  
лупишь шкафом дубовым.  
Не хотим быть паштетом.  
Помогите Ташкенту!..

На руинах как боль  
слышны аплодисменты —  
ловит девочка моль.

Помогите Ташкенту!



В парке на карусели  
кружит пара всю ночь напролет.  
Из-под камня в крушение,  
как ребенок, будильник орет!

Дым шашлычники жарят,  
а подземное пламя  
лизет снизу базары,  
как поднос с шашлыками.

Сад над адом. Вы как?  
Колоннада откушена.  
Будто кукиш векам  
над бульваром свисает пол-Пушкина.

Выживаем назло  
сверхтолчкам хамоватым.  
Как тебя натрясло,  
белый домик Ахматовой!

Если кровь — помогите,  
если кров — помогите,  
где боль — помогите,  
собой — помогите!

Возвращаю билеты.  
Разве мыслимо бегство  
от твоих заболевших,  
карих, бедственных!

Разве важно, с кем жили?  
Кого вызволишь — важно.  
До спасенья — чужие,  
лишь спасенные — ваши.

Голым сердцем дрожишь,  
город в страшной ладони пустыни.  
Мой Ташкент, моя жизнь,  
чем мне стать, чтобы боль отпустила?

Я читаю тебе  
в сумасшедшей печали.  
Я читаю Беде,  
чтоб хоть чуть полегчало.

Как шатает наш дом.  
(как ты? цела ли? не поцарапало? пытаюсь  
дозвониться... тщетно...)  
Зарифмую потом.  
Помогите Ташкенту!

Ну, а вы вне Беды?  
Погодите закусывать кетой.  
Будьте так же чисты.  
Помогите Ташкенту.

Ах, Клубок Литгарантулов,  
не устали делить монументы?  
Напишите талантливо.  
Помогите Ташкенту.)

...Кукла под сапогами.  
Помогите Ташкенту,  
как он вам помогает  
стать собой.

Он — Анкета.

**Киж-озеро**

Мы — Кижки,  
я — киж, а ты — кижиха.  
Ни души.  
И все наши пожитки —  
ты, да я, да простенький плащишко,  
да два прошлых,  
чтобы распроститься!

Мы чужи  
наветам и наушникам,  
те Кижки  
решат твое замужество,  
надоело прятаться и мучиться,  
лживые обрыдли стеллажи,  
люди мы — не электроужы,  
от шпионов, от домашней лжи  
нас с тобой упрятали Кижки.

Спят Кижки,  
как совы на нашесте,  
ворожбы,  
пожарища, нашествия.  
Мы свежи —  
как заросли и воды,  
оккупированные  
свободой!  
Кыш, Кижки...

...а где-нибудь на Каме  
два подобья наших с рюкзаками,  
он, она —  
и все их багажи,  
убежали и — недосягаемы.

Через всю Россию  
ночками  
их костры — как микромятежи.

Раньше в скит бежали от грехов,  
нынче удаляются в любовь.

## Кемская легенда

Был император крут, как кремень:  
 кто не пографил —  
 катитесь в Кемь!  
 Раскольник, дурень, упрямый пень —  
 в Кемь!

Мы три минуты стоим в Коми.  
 Как поминальное «черт возьми»  
 или молитву читаю в темь —  
 мечтаю, кого я послал бы в Кемь:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Но мною посланные друзья  
 глядят с платформ,  
 здоровьем дразня,  
 счастливые, в пыжиках набекрень,  
 жалеют нас,  
 не попавших в Кемь!

«В красавицу Кемь  
 новосел валит.  
 И всех заявлений  
 не удовлетворить.  
 Не гиблый край,  
 а завтрашний день»,  
 Вам грустно?  
 Командируйтесь в Кемь!

## Ахиллесово сердце

В дни неслыханно болевые  
быть без сердца — мечта.  
Чемпионы лупили навывлет —  
ни черта!

Продырявленный точно решёта,  
утишаю ажиотаж:  
«Поглазейте в меня, как в решётку, —  
так шикарен пейзаж!»

Но неужто узнает ружье,  
где,  
привязана нитью болезненной,  
бьешься ты в миллиметре от лезвия,  
ахиллесово  
сердце  
мое?!

Осторожнее, милая, тише...  
Нашумело меня места,  
я ношусь по России —  
как птица  
отвлекает огонь от гнезда.

Невозможно расправиться с нами.  
Невозможнее — выносить.  
Но еще невозможней —  
вдруг снайпер  
срежет  
нить!

Растут распады  
из чувств влекущих.  
Вчера мы спаривали  
лягушек.

На черном пластике  
изумрудно  
сжимались празднично  
два чутких чуда.

Ввожу пинцеты,  
вонжу кусачки —  
сожмется крепче  
страсть лягушачья.

Как будто пытки  
избытком страсти  
преображаются  
в источник счастья.

Но кульминанта  
сломилась к спаду —  
чтоб вы распались,  
так мало надо.

Мои кусачки  
теперь источник  
их угасания  
и мук истошных.

Что раньше радовало,  
сближало,  
теперь их ранит  
и обижает.

Затосковали.  
Как сфинксы — варвары,  
ушли в скафандры,  
вращая фарами.

Закаты мира.  
Века. Народы.  
Лягухи милые,  
мои уроды.



## Шафер

На свадебном свальном пиру,  
брэнча номерными ключами,  
я музыку подберу.  
Получится слово: печально.

Сосед, в тебе все сметено  
отчаянно-чудным значеньем.  
Ты счастлив до дьявола, но  
слагается слово: плачевно.

Допрыгался, дорогой.  
Наяривай вина и закусь.  
Вчера, познакомясь с четой,  
ты был им свидетелем в загсе.

Она влюблена, влюблена  
и пахнет жасминовой кожей.  
Чужая невеста, жена,  
но жить без нее ты не сможешь!

Ты выпил. Ты выйдешь на снег  
повыветрить окоlesiцу.  
Окошки потянутся  
вверх  
по белым веревочным лестницам.

Закружится голова.  
Так ясно под яблочко стало,  
чему не подыщешь слова.  
Слагается слово: начало.

ВИДЕОМЫ



Осы Осипа. 1991 г.



Набоков. Стекло, бумага, золото, 1991 г.

Есенин и Айседора, 1992 г.

ЕСЕННИ БЕСЕННИ  
3  
ДВЕ ПУЏИ

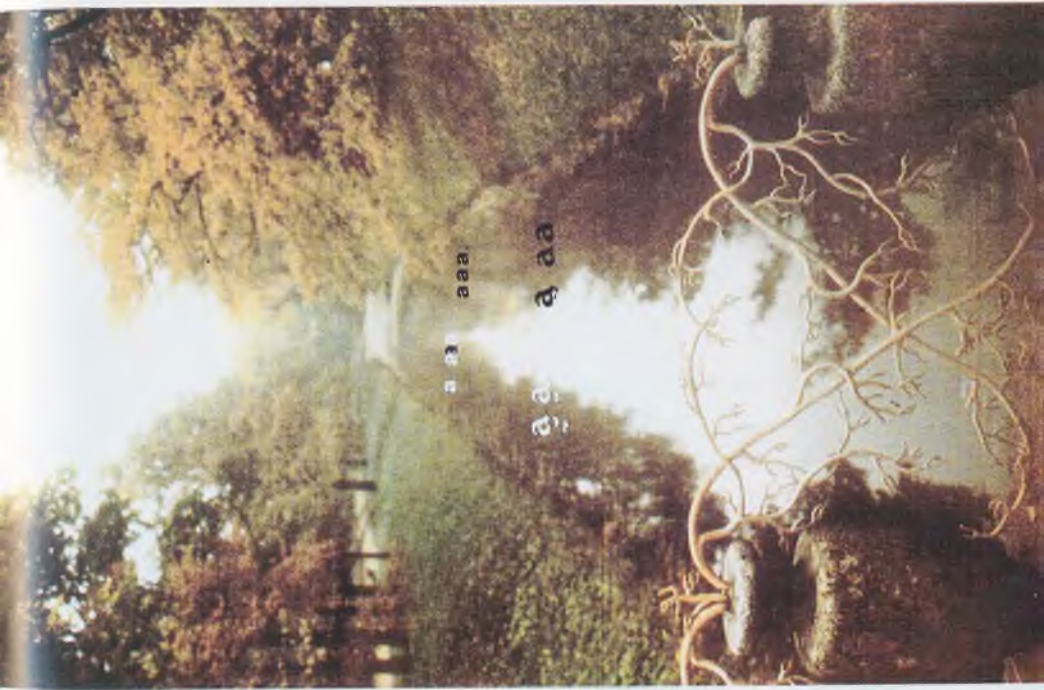


СЪСАДОРА  
СЪСАДОРА  
СЪСАДОРА





Евгений Онегин. 1991 г.



а а а а а а

а а а а а а

А. А. Ахматова, 1991 г.



# PROUS

Пруст.

Картон, увеличительное стекло. 1991 г.

Мемориал И. Баркова –  
Камен в «Челси»,  
Нью-Йорк, 1992 г.





Точка нули. 1991 г.



ПОСТ

+ ПУЛС

ПОПУЛЯРНОСТЬ

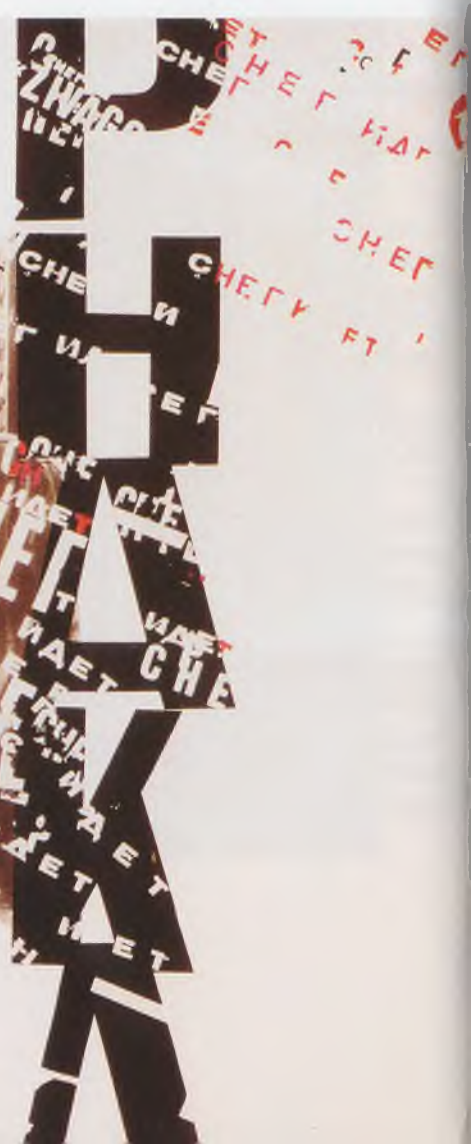
Портрет А. Гинсберга.

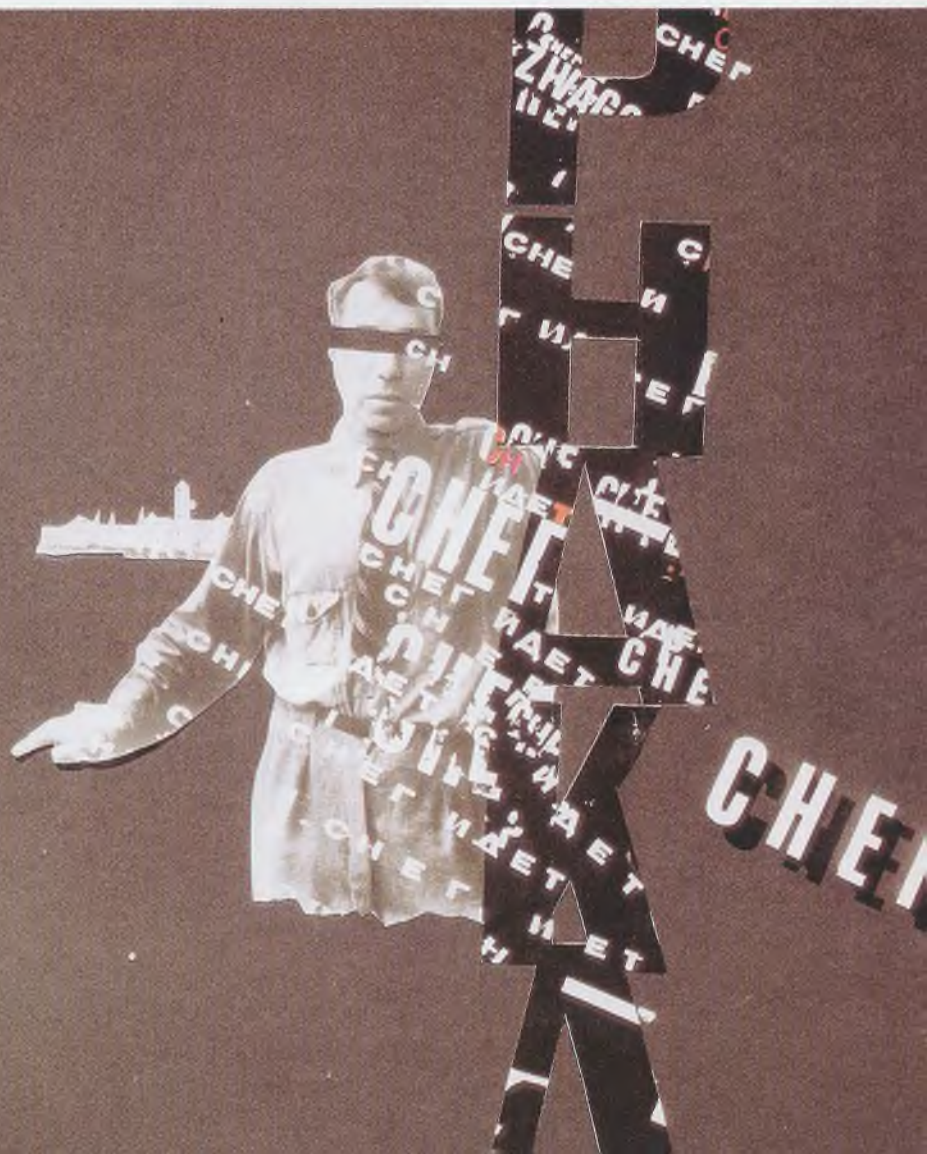
Жжёная веревка,

наручники. 1991 г.



М год следует, как снег и лет







# СХЕМА РАЗДЕЛКИ Г ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ Т

/ ПО ОТРУБА

## ПЕРВЫЙ СОРТ

ОТЕЧЕСТВО ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ



1

УМЕТКА  
Уго - 5705 АУДА  
(Van For)



Республика Татарстан  
Республика Башкортостан  
Республика Марий Эл  
Республика Мордовия  
Республика Чечня  
Республика Дагестан  
Республика Ингушетия  
Республика Северная Осетия-Алания  
Республика Карачаево-Черкесия  
Республика Адыгея  
Республика Краснодарский край  
Республика Ставропольский край  
Республика Хакасия  
Республика Алтай  
Республика Тува  
Республика Бурятия  
Республика Тыва  
Республика Саха (Якутия)  
Республика Чукotka  
Республика Камчатка  
Республика Магаданская область  
Республика Хабаровский край  
Республика Амурская область  
Республика Приморский край  
Республика Сахалинская область  
Республика Мурманская область  
Республика Архангельская область  
Республика Вологодская область  
Республика Ивановская область  
Республика Костромская область  
Республика Нижегородская область  
Республика Оренбургская область  
Республика Челябинская область  
Республика Свердловская область  
Республика Тюменская область  
Республика Омская область  
Республика Новосибирская область  
Республика Кемеровская область  
Республика Донецкая область  
Республика Луганская область  
Республика Ростовская область  
Республика Волгоградская область  
Республика Саратовская область  
Республика Пензенская область  
Республика Ульяновская область  
Республика Самарская область  
Республика Татарстан  
Республика Башкортостан  
Республика Марий Эл  
Республика Мордовия  
Республика Чечня  
Республика Дагестан  
Республика Ингушетия  
Республика Северная Осетия-Алания  
Республика Карачаево-Черкесия  
Республика Адыгея  
Республика Краснодарский край  
Республика Ставропольский край  
Республика Хакасия  
Республика Алтай  
Республика Тува  
Республика Бурятия  
Республика Тыва  
Республика Саха (Якутия)  
Республика Чукotka  
Республика Камчатка  
Республика Магаданская область  
Республика Хабаровский край  
Республика Амурская область  
Республика Приморский край  
Республика Сахалинская область  
Республика Мурманская область  
Республика Архангельская область  
Республика Вологодская область  
Республика Ивановская область  
Республика Костромская область  
Республика Нижегородская область  
Республика Оренбургская область  
Республика Челябинская область  
Республика Свердловская область  
Республика Тюменская область  
Республика Омская область  
Республика Новосибирская область  
Республика Кемеровская область  
Республика Донецкая область  
Республика Луганская область  
Республика Ростовская область  
Республика Волгоградская область  
Республика Саратовская область  
Республика Пензенская область  
Республика Ульяновская область  
Республика Самарская область

В РОССИИ ВОТРИКАЮТ ВСЕ ИНЫЕ ЗОНЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПЕРЕДЕЛОВ



2

ГОБЯДИНА - БАШНА И РЕДЕКА

ЗАРЕЗ



3

4



ГОБЯДИНА

## ВТОРОЙ СОРТ

СААДА ОТЕЧЕСТВА И СТЕПЕНИ

5

6



# ГОВЯДИНЫ ТОРГОВЛИ

М/



## ТРЕТИЙ СОРТ

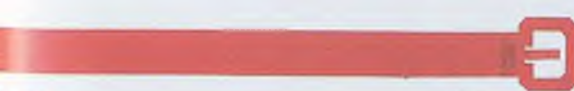
НОСОВЫХ ЧЕЧЕВКА И СТЕПЕНИ



НОС-ПОСЛЕДЫ СЪЕДИНЕНИЯ  
(Н.Торгов.)  
(майор Кивачев)



ПАРЧЕВАН



ОРТ

7

Россия в бешенстве



10

11

*Дир. Ветеринар-91*

Портрет отца.  
Акварель. 1991 г.



Портрет матери.  
Акварель. 1991 г.





Книжная палата.

Архитектурная отмычка слезой. 1952 г.



Милые рощи застенчивой родины  
(цвета слезы или нитки суровой)  
и перекинутые неловко  
вместо мостков горбыльковые продерни,  
будто продернута в кедах шнуровка!

Где б ни шатался,  
кто б ни базарил  
о преимуществах ФЭДа над Фетом —  
слезы ли это?  
линзы ли это? —  
но расплываются перед глазами  
милые рощи дрожащего лета!

\*\*\*

Жадным взором василиска  
вижу: за бревном, остро,  
вспыхнет мордочка лисички,  
точно вечное перо!

Омут. Годы. Окунь клюнет.  
Этот невозможный сад  
взять с собой не разрешат.  
И повсюду цепкий взгляд,  
взгляд прощальный. Если любят,  
больше взглядом говорят.

\*\*\*

Лист летящий, лист спешащий  
над походочкой моей —  
воздух в быстрых отпечатках  
женских маленьких ступней.

Возвращаются, толкутся  
эти светлые следы,  
что желают? что толкуют?  
Ах, лети,  
лети,  
лети!..

Вот нашла — в такой глуши,  
в ясном воздухе души.

## Стрела в стене

Тамбовский волк тебе товарищ  
и друг,  
когда ты со стены срываешь  
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,  
с плеча откинется рука,  
стрела задышит, не насытись,  
как продолжение соска.

С какую женственностью лютой  
в стене засажена стрела —  
в чужие стены и уюты.  
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,  
во всем, что в силе и в цене.  
Вы думали — век электроники?  
Стрела в стене!

Горите, судьбы и державы!  
Стрела в стене.  
Тебе от слез не удержаться  
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,  
как шах семье,  
ультимативно нищая  
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!  
И я скажу:  
«У, олимпийка!» И подумаю:  
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...»  
Ты скажешь: «Фиг-то»...

\* \* \*

Отдай, тетивка сыромятная,  
найтишайшую из стрел  
так тихо и невероятно,  
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,  
но это тлится года.  
И под моим высотным домом  
проходит темная вода.

Глубинная струя влеченья.  
Печали светлая струя.  
Высокая стена прощенья.  
И боли четкая стрела.

## Рождественские пляжи

Людмила, в Сочельник,  
Людмила, Людмила,  
в вагоне зажженная елочка пляшет.  
Мы выйдем у Взморья.  
Оно нелюдимо.  
В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето.  
Боюсь провалиться.  
Под снегом шуршат наши тени песчаные.  
Как если бы гипсом  
криминалисты  
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —  
все лажа!  
Как жрут англичане огонь и мороженое,  
мы бросимся навзничь  
на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,  
мы вас «эпатируем счастьем», мудилы!..  
Когда же ты встанешь,  
останется вмятина —  
в снегу во весь рост  
отпечаток Людмилы.

Людмила,  
с тех пор в моей спутанной жизни  
звонит пустота —  
в форме шеи с плечами,  
и две пустоты —  
как ладони оттиснуты,  
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездой во лбу прибежала ты осенью  
в промокшей штормовке.  
Вода западала в надбровную оспинку.  
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмила-ау! я помолвлен с двойняшками.  
Не плачь. Не в Путивле.  
Как рядом болишь ты,  
подушку обмявши,  
и тень жалюзи  
на тебе,  
как тельняшка...

Как будто тебя  
от меня ампутировали.



## Ливы

Л. М.

Островная красота.  
Юбки с выгибом, как вилы.  
Лики в пятнах от костра —  
это ливы.

Ими вылакан бальзам?  
Опрокинут стол у липы?  
Хватит глупости баззлять!  
Это — ливы.

Ландышевые стихи,  
и ладышки у залива,  
и латышские стрелки.  
Это? Ливы?

Гармоничное «и-и»  
вместо тезы «или-или».  
И шоссе. И соловьи.  
Двое встали и ушли.  
Лишь бы их не разлучили!

Лишь бы сыпался лесок.  
Лишь бы иволгины игры  
осыпали на песок  
сосен сдвоенные иглы!

И от хвойных этих дел,  
точно буквы на галете,  
отпечатается «л»  
маленькое на коленке!

Эти буквы солонь.  
А когда свистят с обрыва,  
это вряд ли соловьи,  
это — ливы.

**Рано**

В горы я поднимаюсь рано.  
Ястреб жестокий парит со мной,  
сверху отсвечивающий —  
как жестяной,  
снизу —  
мягкий и теневой.

Женщина  
в стрижечке светло-ореховой,  
светлая ночью, темная днем,  
с сизой подкладкою  
плащ фиолетовый!..  
Чересполосица в доме моем.

## Декабрьские пастбища

*М. Сарьяну*

Все как надо — звездная давка.  
Чабаны у костра в кругу.  
Годовалая волкодавка  
разрешается на снегу.

Пахнет псиной и Новым Заветом.  
Как томилась она меж нас.  
Ее брюхо кололось светом,  
как серебряный дикобраз.

Чабаны на кону метали —  
короля, короля, короля.  
Из икон, как из будок, лаяли —  
кобеля, кобеля, кобеля.

А она все ложилась чаще  
на репы и сухой помет  
и обнюхивала сияющий  
мессианский чужой живот.

Шли бараны черные следом.  
Лишь серебряный все понимал —  
передачу велосипеда  
его контур напоминал.

Кто-то ехал в толпе овечьей,  
передачу его крутя,  
думал: «Сын не спас Человечий,  
пусть спасет собачье дитя».

Он сопел, белокурый кутяша,  
рядом с серенькими тремя.  
Стыл над лобиком нимб крутящийся,  
словно малая шестерня.

И от малой той шестеренки  
начиналось удесятеренно  
сумасшествие звезд и блох.  
Ибо все, что живое, — Бог.

«Аполлоны», походы, страны,  
ход истории и века,  
ионические бараны,  
иронические снега.

По снегам, отвечая чайням,  
отмечаясь в шоферских чайных,  
ирод Сидоров шел с мешком  
с извиняющимся смешком.

\*\*\*

Проснется он от темнотицы,  
почувствует чужой уют  
и голос ближний и смутивший:  
«Послушай, как меня зовут?»

Тебя зовут — весна и случай,  
измены бешеный жасмин,  
твое внезапное: «Послушай...»  
и ненависть, когда ты с ним.

Тебя зовут — подача в аут,  
любви кочевный баламут,  
тебя в удачу забывают,  
в минуты гибели зовут.

Падает по железу  
с небом напополам  
снежное сожаление  
по лесу и по нам.

В красные можжевельники —  
снежное сожаление,  
ветви отяжелелые  
светлого сожаления!

Это сейчас растает  
в наших речах с тобой,  
только потом настанет  
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,  
будто снега из детства,  
свежее сожаление  
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение,  
яблоко закусав.  
Как мы теперь раздельно  
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету  
брошенный твой снежок,  
будто велосипедный  
круглый литой звонок!

## Портрет Плисецкой

В ее имени слышится плеск аплодисментов.  
 Она рифмуется с плакучими лиственницами,  
 с персидской сиренью,  
 Елисейскими Полями, с Пришествием.  
 Есть полюса географические, температурные,  
 магнитные.

Плисецкая — полюс магии.

Она ввинчивает зал в неистовую воронку  
 своих тридцати двух фуэте,  
 своего темперамента, ворожит,  
 закручивает: не отпускает.

Есть балерины тишины, балерины-снежины —  
 они тают. Эта же какая-то адская искра.

Она гибнет — полпланеты спалит!

Даже тишина ее — бешеная, орущая тишина  
 ожидания, активно напряженная тишина  
 между молнией и громовым ударом.

Плисецкая — Цветаева балета.

Ее ритм крут, взрывен.

\* \* \*

Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли —  
 не в этом суть.

Диковатость ее с детства была пуглива  
 и уже пугала. Проглядывалась сила  
 предопределенности ее. Ее кормят манной  
 кашей, молочной лапшой, до боли  
 затягивают в косички, втискивают первые  
 буквы в косые клетки; серебряная монетка,  
 которой она играет, блеснув ребрышком,  
 закатывается под пыльное брюхо буфета.

А ее уже мучит дар ее — неясный самой  
 себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,  
В мире, где наичернейший — сер!  
Где вдохновение хранят, как в термосе!  
С этой безмерностью в мире мер?!»

\* \* \*

Мне кажется, декорации «Раймонды»,  
этот душный, паточный реквизит,  
тяжеловесность постановки кого хочешь  
разъярит. Так одиноко отчаян ее танец.  
Изумление гения среди ординарности —  
это ключ к каждой ее партии.  
Крутая кровь закручивает ее. Это  
не обычная эоловая фел —

«Другие — с очами и с личиком светлым,  
А я-то ногами беседую с ветром.  
Не с тем — италийским  
Зефиром младым, —  
С хорошим, с широким,  
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —  
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной  
воплъ.  
В «Кармен» она впервые ступила  
на полную ступню.  
Не на цыпочках пуантов, а сильно,  
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.  
Гомон гитарный, луна и грязь.  
Вправо и влево качнулся стан.  
Князем — цыган. Цыганом — князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом  
мире.

«Жить приучил в самом огне.  
Сам бросил — в степь заледенелую!  
Вот что ты, милый, сделал мне.  
Мой милый, что тебе — я сделала?»



Так любит она.  
 В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.  
 Лукав ее ответ зарубежной корреспондентке.  
 — Что вы ненавидите больше всего?  
 — Лапшу! —  
 И здесь не только зареванная обида детства.  
 Как у художника, у нее все нешуточное.  
 Ну да; конечно, самое отвратное —  
 это лапша,  
 это символ стандартности,  
 разваренной бесхребетности, пошлости,  
 склоненности, антидуховности.  
 Не о «лапше» ли говорит она в своих  
 записках:  
 «Люди должны отстаивать свои  
 убеждения...  
 ...только силой своего духовного «я».  
 Не уважает лапшу Майя Плисецкая!  
 Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,  
 Ремесленник — я знаю ремесло!»

\* \* \*

Балет рифмуется с полетом,  
 Есть сверхзвуковые полеты.  
 Взбешенная энергия мастера — преодоление  
 рамок тела, когда мускульное движение  
 переходит в духовное.  
 Кто-то договорился до излишнего  
 «технизма»  
 Плисецкой,  
 до ухода ее «в форму».  
 Формалисты — те, кто не владеет  
 формой. Поэтому форма так заботит их,  
 вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,  
 они пыhtят над единственной рифмишкой  
 своей, потеют в своих двенадцати фуэте.  
 Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена  
 мастерством. Она не раб формы.  
 «Я не принадлежу к тем людям, которые  
 видят за густыми лаврами успеха девяносто

пять процентов труда и пять процентов таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался за пять человеко-лет обучить любого стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин?

Себя он не обучил.

\* \* \*

Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство — нуль.

Как показали опыты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся два чувства поэзии. Таланты

не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они национальные богатства — как залежи радия, сентябрь в Сигулде или целебный источник.

Такое чудо, национальное богатство — линия Плисецкой.

Искусство — всегда преодоление барьеров.

Человек хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой.

Почему люди рвутся в стратосферу? Что, дел на Земле мало?

Преодолевается барьер тяготения. Это естественное преодоление естества.

Духовный путь человека — выработка, рождение нового органа чувств, повторяю, чувства чуда. Это называется искусством.

Начало его в преодолении извечного способа выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек стремится к горизонтальному полету.

Зал стонет, когда летит тридцатиградусный торс... Стравинский режет глаз

цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух.

Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая ноздрями, нащупывает цвет клавишами.

Ухо становится органом зрения. Живопись

ищет трехмерность и движение на статичном холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.

Балет — преодоление барьера звука.

Язык — орган звука? Голос? Да нет же;  
это поют руки и плечи, щебечут пальцы,  
сообщая нечто высочайше важное,  
для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение.

Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение,  
когда произнесенная тишина, отомкнувшись  
от губ юноши, плывет, как воздушный шар,  
невидимая, но осязаемая,  
к пальцам Джульетты. Та принимает этот  
материализовавшийся звук, как вазу,  
в ладони, ощупывает пальцами.  
Звук, воспринимаемый осязанием! В этом  
балет адекватен любви.

Когда разговаривают предплечья, думают  
голени, ладони автономно сообщают друг  
другу что-то без посредников.

Государство звука оккупировано движением.

Мы видим звук. Звук — линия.

Сообщение — фигура.

\* \* \*

Параллель с Цветаевой не случайна.

Как чувствует Плисецкая стихи!

Помню ее в черном на кушетке,

как бы оттолкнувшуюся от слушателей.

Она сидит вполоборота, склонившись, как  
царскосельский изгиб с кувшином. Глаза ее  
выключены. Она слушает шеей. Модильянистой  
своей шеей, линией позвоночника, кожей  
слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.

Она любит Тулуз-Лотрека.

Летний настрой и отдых дают ей  
библейские сбросы Севана и Армении,  
костер, шашлычный дымок.

Припорхнула к ней как-то посланница  
элегантного журнала узнать о рационе  
«примы».

Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды  
всех эпох! «Мой пеньюар состоит из  
одной капли шанели». «Обед балерины —  
лепесток розы»...

Ответ Плисецкой громopodobен и гомеричен.

Так отвечают художники и олимпийцы.

«Сижу не жрамши!»

Мощь под стать Маяковскому.

Какая издевательская полемичность.

\* \* \*

Я познакомился с ней в доме Лили Брик, где все  
говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся  
в квадратах автопортрет Маяковского.

Женщина в сером всплескивала руками.

Она говорила о руках в балете.

Пересказывать не буду. Руки метались

и плескались под потолком, одни руки.

Ноги, торс были только вазочкой для этих  
обнаженно плескавшихся стеблей.

В этот дом приходиться опасно. Вечное  
командорское присутствие Маяковского  
сплющивает ординарность. Не всякий  
выдерживает такое соседство.

Майя выдерживает. Она самая современная  
из наших балерин.

Это балерина ритмов XX века. Ей не среди

лебедей танцевать, а среди автомашин

и лебедек! Я ее вижу на фоне чистых  
линий Генри Мура и капеллы Роншан.

«Гений чистой красоты» — среди  
издерганного, суматошного мира.

Красота очищает мир.

Отсюда планетарность ее славы.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались  
в очередь за красотой, за билетами  
на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник,  
ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает  
мир. Художник, создавая прекрасное,  
преображает мир, создавая очищающую

красоту. Она ошеломительно понятна  
на Кубе и в Париже. Ее абрис схож  
с летящими египетскими контурами.  
Да и зовут ее кратко, как нашу сверстницу  
в колготках, и громоподобно, как богиню  
или языческую жрицу, — Майя.

\* \* \*

«Что делать страшной красоте,  
присевшей на скамью сирени?»

*Б. Пастернак*

Недоказуем постулат.

Пасть по-плисецки на колени,  
когда она в «Анне Карениной»,  
закутана в плиссе-гофре,  
в гордынь Кардена и Картье,  
в самоубийственном смиренье  
лиловым пеплом на костре  
пред чудищем узкоколейным  
о смертном молит колесе?

Художник — даже на коленях —  
победоноснее, чем все.

Валитесь в ноги красоте.

Обезоруживает гений —  
как безоружно каратэ.

**Тень звука**



\*\*\*

Слоняюсь под Новосибирском,  
где на дорожке к пустырю  
прижата камушком записка:  
«Прохожий, я тебя люблю!»

Сентиментальность озорницы,  
над вами прыснувшей в углу?  
Иль просто надо объясниться?  
«Прохожий, я тебя люблю!»

Записка, я тебя люблю!  
Опушка — я тебя люблю!  
Зверюга — я тебя люблю!  
Разлука — я тебя люблю!

Детсад — как семь шаров воздушных,  
на шейках-ниточках держась.  
Куда вас унесет и сдует?  
Не знаю, но страшусь за вас.

Как сердце жмет, когда над осенью,  
хоть никогда не быть мне с ней,  
уносит лодкой восьмивесельной  
в затылок ниточку гусей!

Прощающим благодареньем  
пройдет деревня на плаву.  
Что мне плакучая деревня?  
Деревня, я тебя люблю!

И как ремень с латунной пряжкой  
на бражном, как античный бог,  
на нежном мерине дремавшем  
присох осиновый листок.



Коняга, я тебя люблю!  
Мне конюх молвит мирозданьем:  
«Поэт? Люблю. Пойдем — раздавим...»  
Он сам, как осень, во хмелю,

Над пнем склонилась паутина,  
в хрустальном зеркале храня  
тончайшим срезом волосиным  
все годовые кольца пня.

Будь с встречным чудом осторожней...  
Я встречным «здравствуй» говорю.  
Несешь мне гибель, почтальонша?  
Прохожая, тебя люблю!

Прохожая моя планета!  
За сумасшедшие пути,  
проколотые, как билеты,  
поэты с дырочкой в груди.

И как цена боев и риска,  
чек, ярлычок на клею,  
к Земле приклеена записка:  
«Прохожий, я тебя люблю!»

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,  
забреду ли в вечернюю деревушку —  
будто душу высасывают насосом,  
будто тянет вытяжка или вьюшка,  
будто что-то случилось или случится —  
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?  
Или женщину мучил — и вот наказание?  
Сложишь песню — отпустит,  
а дальше — пуще.  
Показали дорогу, да путь заказали.  
Точно тайный горб на груди таскаю —  
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,  
я забыл, какое твое дыханье,  
подари мне прощенье,  
коли виновен,  
а простивши — опять одари виною...

## Не пишется

Я — в кризисе. Душа нема.  
«Ни дня без строчки», — друг мой дробит.  
А у меня —  
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.  
Погашены мои заводы.  
И безработица души  
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец  
в статье напишет, что, окрысясь,  
в бескризиснейшей из систем  
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,  
мой неподкупный друг,  
хорош костюм, да не по росту,  
внутри все ясно и вокруг —  
но не поется.

Я деградирую в любви.  
Дружу с оторвою трактирною.  
Не деградируете вы —  
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.  
Свистал хоккейным бомбардиром.  
Я разучился рифмовать.  
Не получается.

Чужая птица издали  
простонет перелетным горем.  
Умеют хором журавли.  
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру  
ты плачешь белому Владимиру?  
Я этих нот не подберу.  
Я деградирую.

Семь поэтических томов  
в стране выходит ежесуточно.  
А я друзей и городов  
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса  
и онемевшие рассветы,  
где деградирует весна  
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —  
две тысячи семьсот семнадцать  
поэтов нашей федерации —  
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

\*\*\*

Нам, как аппендицит,  
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.  
Мы попираем смерть.  
Ну, кто из нас краснел?  
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек  
не просочится свет.  
Но по ночам — как шов,  
заноет — спасу нет!

Я думаю, что Бог  
в замену глаз и уш  
нам дал мембрану щек,  
как осязанье душ.

Горит моя беда,  
два органа стыда —  
не только для бритья,  
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,  
смутясь, гляжу кругом —  
мне гладит щеки стыд  
с изнанки уютгом.

Как стыдно, мы молчим.  
Как минимум — схохмим.  
Мне стыдно писанин,  
написанных самим.

Ложь в рожищах людей,  
хоть надевай штаны,  
но тыщу раз стыдней,  
когда Премьер страны

*застенчиво замер в ООН перед тем — как  
снять ботинок. «Вот незадача, — размышлял он. — Точно  
помню, что вымыл вчера ногу, но какую — левую или правую?»*

Далекий ангел мой,  
стыжусь твоей любви  
авиазаказной...

Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.  
Но тыщи раз стыдней,  
что не отыщешь слез  
на дне души моей.

Смешон мужчина мне  
с напухшей тучей глаз.  
Постыднее вдвойне,  
что это в первый раз.

И черный ручеек  
бежит на телефон  
за все, за все, что он  
имел и не сберег.

За все, за все, за все,  
что было и ушло,  
что сбудется ужю,  
и все еще — не все...

В больнице режиссер  
чернеет с простыней.  
Ладони распростер.  
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,  
как бы чужие мы,  
стыдливая краса  
хрустальной страны —

застенчивый укор  
застенчивых лугов,  
застенчивая дрожь  
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха —  
быть органом стыда.

\*\*\*

Графоманы Москвы,  
меня судите строго,  
но крадете мои  
несуразные строки.

Вы, конечно, чисты  
от оплошностей ложных.  
Ваши ядра пусты,  
точно кольца у ножниц.

Засвищу с высоты  
из Владимирской пустоши —  
бесполезные рты  
разевайте и слушайте.



## Строки

Пес твой, Эпоха, я вою у сонного ЦУМа —  
чую Кучума!

Чую кольчугу  
сквозь чушь о «военных коммунах»,  
чую Кучума,  
чую мочу  
на жемчужинах луврских фаюмов —  
чую Кучума,  
люди, очнитесь от ваших возлюбленных юных,  
чую Кучума!

Неужели астронавты завтра улетят на Марс,  
а послезавтра — вернуться в эпоху скотоводческого  
феодализма?

Неужели Шекспира заставят каяться в незнании «измов»?  
Неужели Стравинского поволокут  
по воющим улицам?

Я думаю, право ли большинство?  
Право ли наводнение во Флоренции,  
круша палаццо, как орехи грецкие?  
Но победит Чело, а не число.

Я думаю, — толпа иль единица?  
Что длительней — столетье или миг,  
который Микеланджело постиг?  
Столетье сдохло, а мгновение длится.

Я думаю...

## Осеннее вступление

Развяжи мне язык, Муза огненных азбучиц.  
Время рева испытать.  
Развяжи мне язык, как осенние вязы развязываешь  
в листопад.

Развяжи мне язык — как снимают ботинок,  
чтоб ранимую землю осязать босиком,  
так гигантское небо  
эпохи Батыя  
сковородку Земли,  
обжигаясь, берет языком.

Освежи мне язык, современная Муза.  
Водку из холодильника в рот наберя,  
напоила щекотно,  
морозно и узко!  
Вкус рябины и русского словаря.

Онемевшие залы я бросал тебе под ноги вазами,  
оставляя заик,  
как у девки отчаянной,  
были трубы мои  
перевязаны.  
Разреши меня словом. Развяжи мне язык.

И никто не знавал, как в душевной изжоге  
обдирался я в клочья —  
вам виделся бзик?  
Думал — вдруг прозревают от шока!  
Развяжи мне язык.

Время рева зверей. Время линьки архаров.  
Архаическим ревом  
взрывая кадык,

не латинское «Август», а древнее «Зарев»,  
озари мне язык.

*Зарев  
заваленных базаров, грузовиков,  
зарев раздумянных от плиты хозяек,  
зарев,  
когда чащи тяжелы и пузаты,  
а воздух над полем вздрагивает, как ноздри,  
в предвкушении перемен,  
когда звери воют в сладкой тревоге,  
зарев,  
когда видно от Москвы до Хабаровска  
и от костров картофельной ботвы до костров  
Батыя,  
зарев,  
когда в левом верхнем углу  
жемчужно-витиеватой березы  
замерла белка,  
алая, как заглавная буквица  
Ипатьевской летописи.  
Ах, Зарев,  
дай мне откусить твоего запева!*

Заревает история.  
Зарев тура, по сердцу хвати.  
И в слезах, обернувшись, над трупом Сахары;  
львы ревут,  
как шести микрофонов,  
воздев вертикально с пампушкой хвосты —  
Зарев!

Мы лесам соплеменны,  
в нас поют перемены.  
Что-то в нас назревает.  
Человек заревает.

Паутинки летят. Так линяет пространство.  
Тянет за реку.  
Чтобы голос обрести — надо крупно расстаться,  
зарев,  
зарев — значит «прощай!», зарев — значит  
«да здравствует завтра!»

Как горящая пакля, на сучках ключья волчьей и песьи.  
Звери платят ясак за провидческий рык.  
Шкурой платят за песню.  
Развяжи мне язык.

Я одет поверх куртки  
в квартиру с коридорами-рукавами,  
где из почтового ящика,  
как платок из кармана,  
газета торчит,  
сверху дом, как боярская шуба  
каменными мехами. —  
Развяжи мне язык.

Ах, мое ремесло — самобытное? Нет, самопытное!  
Оббиваясь о стены, во сне, наяву,  
ты пытай меня, Время, пока тебе слово не выдам.  
Дай мне дыбу любую. Пока не взреву.

Зарев новых словес. Зарев зрелых предчувствий,  
революций и рас.  
Зарев первой печурки,  
красным бликом змеясь...  
Запах снега Пречистый,  
изменяющий нас.

\* \* \*

Человечьи кричит на шоссе  
белка, крашенная, как в Вятке, —  
алюминиевая уже,  
только алые уши и лапки.

## Роца

Не трожь человека, деревце,  
костра в нем не разводи.  
И так в нем такое делается —  
Боже, не приведи!

Не бей человека, птица,  
еще не открыт отстрел,  
Круги твои —  
ниже,  
тише.  
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.  
Вы, белка и колонок,  
снимите силки с дороги,  
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.  
Он в этом не виноват.  
Не надо, вольная рощица,  
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,  
с начесами до бровей —  
травили его, освистывали,  
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье  
все ягоды и грибы,  
пожалуй ему спасение,  
спасением погуби.

- Итак,  
в прошедшем поэт, в настоящем просящий суда,  
свидетель себя и мира в 60-е года?
- Да!
- Клянетесь ответствовать правду в ответ?
- Да.
- Живя на огромной, счастливейшей из планет,  
песчиночке из моего решета...
- Да.
- ...вы производили свой эксперимент?
- Да.
- Любили вы петь и считали, что музыка — ваша звезда?
- Да.
- Имели вы слух или голос и знали хотя бы предмет?
- Нет.
- Вы знали ли женщину с узкою трубочкой рта?  
И дом с фонарем отражался в пруду, как бубновый валет?
- Нет.
- Все виски просила без соды и льда?
- Нет, нет, нет!
- Вы жизнь ей вручили. Где ж женщина та?
- Нет.
- Вы все испытали — монаршая милость, политика, деньги,  
нужда,  
все только бы песни увидели свет,  
дешевую славу с такою доплатою вслед?
- Да.
- И все ж, мой отличник, познания ваши на «2»?
- Да.
- Хотели пустыни — а шли в города,  
смирили ль гордыню, став модой газет?
- Нет.
- Вы были ль у цели, когда стадионы ревели вам «Дай»!
- Нет.

— В стихках все — вопросы, в них только и есть что вреда,  
производительность труда падает, читая сей бред?

— Да.

— И все же вы верите в некий просвет?

— Да.

— Ну, мальчики, может, ну, девочки, может...

Но сникнут под ношею лет.

Друзья же подались в искусство «дада»?

— Кто да.

— Все — белиберда,  
в вас нет смысла, поэт!

— Да, если нет.

— Вы дали ли счастье той женщине, для  
которой трудились, чей образ воспет?

— Да,

то есть нет.

— Глухарь стихотворный, напаявший джинсы,  
поешь, наступая на горло собственной жизни?

Вернешься домой — дома стонет беда?

— Да.

— Хотел ли свободы парижский Конвент?

Преступностью ль стала его правота?

— Да.

— На вашей земле холода, холода,  
такие пространства, хоть крикни — все сходит на нет?..

— Да.

— Вы лбом прошибали из тьмы ворота,  
а за воротами — опять темнота?

— Да.

— Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо,  
случится беда,

вам жаль ваше тело, ну ладно.

Но маму, но тайну оставшихся лет?

— Да.

— Да?

— Нет.

— Нет.

— Итак, продолжаете эксперимент? Айда!

Обрыдла мне исповедь,

вы — сумасшедший, лжеидол, балда, паразит!

Идете витийствовать? зло поразить? иль простить?

Так в чем же есть истина? В «да» или в «нет»?  
— С п р о с и т ь.

В ответы не втиснуты  
судьбы и слезы.  
В вопросе и истина.  
Поэты — вопросы.



## Морская песенка

Я в географии слабак,  
но, как на заповедь,  
ориентируюсь на знак —  
Востоко-запад.

Ведь тот же огненный желток,  
что скрылся за борт,  
он одному сейчас — Восток,  
другому — Запад.

Ты целовался до утра.  
А кто-то запил.  
Тебе — пришла, ему — ушла.  
Востоко-запад.

Опять Букашкину везет.  
Растет идейно.  
Не понимает, что тот взлет —  
его паденье.

А ты художник, сам себе  
Востоко-запад.  
Крути орбиты в серебре,  
чтоб мир не зябнул.

Пускай судачат про твои  
паденья, взлеты —  
нерукотворное твори,  
Жми обороты.

Страшись, художник, подлипал  
и страхов ложных.  
Работай. Ты их всех хлебал  
большою ложкой.

Солнце за морскую линию  
удаляется, дурачься,  
своей нижней половиною  
вылезая в Гондурасах.

*Р. Щедрина*

В воротничке я —  
как рассыльный  
в кругу кривляк.  
Но по ночам я — пес России  
о двух крылах.

С обрывком галстука на вые,  
и дыбом шерсть.  
И дыбом крылья огневые.  
Врагов не счесть...

А ты меня шерстишь и любишь,  
когда ж грустишь —  
выплакиваешь мне, что людям  
не сообщить.

В мурло уткнешься меховое,  
в репьях, в шипах...  
И слезы общею звездю  
в шерсти шипят.

И неминуемо минуем  
твою беду  
в именуемо немую  
минуту ту.

А утром я свищу насильно,  
но мой язык —  
что слезы слизывал России,  
чей светел лик.

## Испытание болотохода

По болоту,  
сглотавшему бак питательный,  
по болотам, болотам, темней мазута, —  
испытатели! —  
по болотам Тюменским,  
потом Мазурским.

Благогласно имя болотохода!  
Он, как винт мясорубки, ревет паряще.  
Он — в порядочке!  
Если хочешь полета — учти болота.

...по болотам — чарующим и утиным,  
по болотам, засасывающим к матери,  
по болотам,  
предательским и рутинным, —  
испытатели!..

Ах, водитель Черных, огненнобородый:  
«Небеса — старо. Полетай болотом!»

...Испытатели! —  
если опыт кончится катастрофой,  
под болотом,  
разгладившимся податливо,  
два баллона и кости спрессует торфом...

Жизнь осталась, где суша и коноплянки,  
и деревни на взгорьях — как киноплёнки,  
и по осени красной, глядя каляще,  
спекулянтку «опер» везет в коляске.

Не колышется монументальная краля,  
подпирая белые слоники бус.

В черный бархат обтянут клокочущий бюст,  
как пианино,  
на котором давно не играли.

По болотам,  
подлогам,  
по блатам,  
по татям —  
испытатели! —  
по бодягам, подплывшим под подбородок, —  
испытатели —  
испытатели —  
испытатели —  
испытатели —  
испытатели —  
испытатели —  
пробуксовывая на оборотах.

А на озере Бисеровом — охоты!  
Как-то самоубийственно жить охота.  
И березы багрово висят кистями,  
будто раки трагическими клешнями.

Говорит Черных: «Здесь нельзя колесами,  
где вода, как душа, обросла волосьями.  
Грязь лупить —  
обмазаться показательно.  
Попытаемся по касательной!»

Сквозь тошнотно кошачий концерт лягушек,  
испытатели! —  
по разлукам, закатным и позолотным,  
по порогам, загадочным и кликушным,  
по невинным и нужным в какой-то стадии,  
по бессмертным,  
но все-таки по болотам!

По болоту, облупленному, — спяните!..  
По болотам, завистливым и заливистым,  
по трясинам,  
резинам,  
годам —  
не вылезти —  
испытатели!

По болотам — полотнищам сдавшихся армий,  
замороженной клюквой стуча картинно,  
с испытаний,  
поборовши, Черных добредет в квартиру.

И к роялю сядет, разя соляркой,  
и педаль утопит, как акселератор,  
и взревет Шопен болевой балладой  
по болотам —  
пленительным и проклятым!

## Бой петухов

Петухи!  
Петухи!  
Потуши!  
Потуши!  
Спор шпор,  
ку-ка-рехнулись!  
Урарь!  
Ху-ха...  
Кухарка  
харакири  
хор  
(у, икающие хари!)

«Ни хера себе Икар!»

хр-ррр!

Какое бешеное счастье,  
хрипя воронкой горловой,  
под улюлюканье промчатся  
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,  
по пояс в дряни бытия,  
по горло в музыке восхода —  
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся, —  
на небеса!  
Там, где гуляют грандиозно  
коллеги в музыке лугов,  
как красные аккордеоны  
с клавиатурами хвостов.

() лабухи Иерихона!  
Империи и небосклоны.  
Зареванные города.  
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,  
не залетит на небеса.)

Но по ночам их кличат пламенно  
с асфальтов, жилисто-жива,  
как орден Трудового знамени,  
оторванная голова.



## Морозный ипподром

В. Аксенову

Табуном рванулись трибуны к стартам.  
В центре — лошади, вкопанные в наст.  
Ты думаешь, Вася,  
мы на них ставим?  
Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.  
Яблоки по крупу — ё-мое...  
Умеет крупно конюшню вынюхать.  
Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.  
Людям кажется, что им — они.  
Природа и роци на нас поставили.  
А мы — гони!

Колдуют лошади, они шепочут.  
К столбу Ханурик примерз цепочкой.

*Все-таки 43°...*

*Птица замерзла в воздухе, как елочная игрушка.*

*Мрак, надвигаясь с востока, замерз посредине*

*неба, как шторка*

*у испорченного фотоаппарата.*

*А у нас в Переделкине, в Доме творчества,*

*были открыты 16 форточек.*

*Около каждой стоял круглый плотный комок  
комнатного воздуха.*

*Он состоял из сонного дыхания, перегара, тяжелых идей.*

*Некоторые заклопывают фортки марлей,*

*чтобы идеи не вылетали из комнаты,*

*как мухи.*

*У тех воздух свисал тугой и плотный,*

*как творог в тряпочке..*

Взирают лошади в городах:  
 как рощи в яблоках о четырех стволах...  
 Свистят Ханурику.  
 Но кто свистит?  
 Свисток считает, что он свистит.  
 Мильтон считает, что он свистит.  
 Закон считает, что он свистит.

Планета кружится в свистке горошиной,  
 но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —  
 упал Ханурик. Хохочут лошади —  
 кобыла Дуньки, Судьба, конь Блед.

Хохочут лошади.  
 Их стоны жутки:  
 «Давай, очкарик! Нажми! Андрей!»  
 Их головы покачиваются,  
 как на парашютиках,  
 на паре, выброшенном из ноздрей.

*Понятно, мгновенно замершем.*  
*Все-таки 45°...*  
*У ворот ипподрома лежал Ханурик.*  
*Он лежал навзничь. Слева — еще пять.*  
*Над его круглым ртом, короткая, как вертикальный штопор,*  
*открытый из перочинного ножа, стояла*  
*замерзшая Душа.*  
*Она была похожа на поставленную торчком*  
*винтообразную сосульку.*  
*Видно, испарялась по спирали,*  
*да так и замерзла.*  
*И как, бывает, в сосульку вмерзает листик или веточка,*  
*внутри ее вмерзло доказательство добрых дел,*  
*взятое с собой. Это был обрывок заявления*  
*на соседа за невыключенный радиоприемник.*

*Над соседними тоже стояли Души, как пустые бутылки.*  
*Между тел бродил Ангел.*  
*Он был одет в сатиновый халат подметальщика.*  
*Он собирал Души, как порожние бутылки.*  
*Внимательно*  
*проводил пальцем — нет ли зазубрин,*  
*Бракованные скорбно откидывал через плечо.*

*Когда он отходил, на снегу оставались  
отпечатки следов с подковками...*

...А лошадь Ангел — в дыму морозном  
ноги растворились,  
как в азотной кислоте,  
шейку шаловливо отогнула, как полозья,  
сама, как саночки, скользит на животе!..

## Старая песня

*Г. Джагарову*

Пой, Георгий, прошлое болит.  
На иконах — конская моча.  
В янычары отняли мальчика.  
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.  
А в глазах — столетия горят.  
Братия насилюют сестер.  
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,  
материнский вырезав живот.  
Под какой из вражеских личин  
раненая родина зовет?

Если ты, положим, янычар,  
не свои ль сжигаешь алтари,  
где чужие — можешь различать,  
но не понимаешь, где свои.

Вырванные груди волоча,  
остолбеневаая от любви,  
мама, плюнешь в очи палача...

Мама! У него глаза — твои.

**Бар «Рыбарска хижа»***Божидару Божилову*

Серебряных несобрских рыбин  
рубаем хищно.  
Наш пир тревожен. Сижу, не рыпаюсь  
в «Рыбарске хиже».

Ах, Божидар, антенна Божья,  
мы — самоеды.  
Мы оба тощи. Мы рыбы тоже.  
Нам тошно это.

На нас — тельняшки, меридианы —  
жгут, как веревки.  
Фигуры наши — как Модильяни —  
для сковородки.

Кто по-немецки, кто по-румынски...  
Мы ж — ультразвуки.  
Кругом отважно чужие мысли  
и ультрацуки.

Кто нас услышит? Поймет? Ответит?  
Нас, рыб поющих?  
У Времени изящны сети  
и толсты уши.

Нас любят жены  
в чулках узорных,  
они — русалки.

Ах, сколько сеток  
в рыбачьих зонах  
мы прокусили!

В банкетах пресных  
нас хвалят гости,  
мы нежно кротки.  
Но наши песни  
вонзятся костью  
в чужие глотки!

## Вальс при свечах

Любите при свечах,  
танцуйте до гудка,  
живите — при сейчас,  
любите — при когда?

Ребята — при часах,  
девчата — при серьгах,  
живите — при сейчас,  
любите — при всегда.

Прически — на плечах,  
щека у свитерка,  
начните — при сейчас,  
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!  
Дворцы сминаемы.  
А плечи всё свежи  
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?  
Не ерунда важна,  
а важно, что пришел.  
Что ты в глазах влажна,

Зеленые в ночах  
такси без седока.  
Залетные на час,  
останьтесь навсегда...

## Уже подснежники

К полудню  
или же поздней еще,  
ни в коем случае  
не ранее,  
набрякнут под землей подснежники.  
Их выбирают  
с замираньем.

Их собирают  
непоспевшими  
в нагорной рощице дубовой,  
на пальцы дую  
покрасневшие  
на солнцепеке,  
где сильней еще  
снег пахнет  
молодой любовью.

Вытягивайте  
потихонечку  
бутоны из стручка  
опасливо —  
как авторучки из чехольчиков  
с стержнями белыми  
для пасты.

Они заправлены  
туманом,  
слезами  
или чем-то высшим,  
что мы в себе  
не понимаем,  
не прочитаем,  
но не спишем.



Но где-то вы уже записаны,  
и что-то послучалось  
с вами  
невидимо,  
но несмываемо.  
И вы от этого зависимы.

Уже не вы,  
а вас собрали  
лесные пальчики в оправе.

Такая тяга потаенная  
в вас, новорожденные змейки,  
с порочно-детской,  
лимонною  
усмешкой!

Потом вы их на шапку сложите, —  
кемарьте,  
замерзнувшие, как ложечку  
серебряные и с эмалью.

Когда же через час  
вы вспомните:  
«А где же?»  
В лицо вам ткнутся  
пуще прежнего  
распущенные  
и помешанные  
уже подснежники!

«Кто вызывал меня?  
Аз язык...»

...Ах, это было, как в Сочельник! В полумраке собора алым языком извивался кардинал. Пред ним, как онемевший хор, тремя рядами разинутых ртов замерла паства, ожидая просвирок.

«Мы — языки...»

Наконец-то я узрел их.

Из разъятых зубов, как никелированные застёжки на «молниях», из-под напудренных юбочек усов, изнывая, вываливались алые лизаки.

У, сонное зевало, с белой просвиркой, белевшей, как запонка на замшевой подушечке.

У, лебезенок школьника, словно промокашка с лиловой кляксой и наоборотным отпечатком цифр.  
У, лизоблуды...

Над едалом сластены, из которого, как из кита, били нетерпеливые фонтанчики,

порхал куплет:

«Продавщица, точно Ева, —  
ящик яблочек — налево!»

Два оратора перед дискуссией смазывали свои длинные, как лыжи с желобками посередине, мазью для скольжения,

у бюрократа он был проштемпелеван лиловыми чернилами, будто мясо на рынке.

У, языки клеветников, как перцы, фаршированные пакостями,

они извивались и яздваивались на конце,  
как черные фраки или мокрицы.

У одного язвилло набухло, словно лиловая картофелина  
в сырой темноте подземелья. Белыми стрелами из него  
произрастали сплетни. Ядило этот был короче других языков.  
Его, видно, ухватили однажды за клевету,  
но он отбросил кончик, как ящерица отбрасывает хвост.  
Отрос снова!

Мимо черт нес в ад двух критиков, взяв их как зайца за уши,  
за их ядовитые язвилы.

Поистине, не на трех китах, а на трех языках, как  
чугунный горшок на костре, закипает мир.

...И нашла тьма-тьмущая языков, и смешались речи  
несметные и рухнул Вавилон...

По тротуарам под 35 градусов летели замерзшие  
фигуры, вцепившись зубами в упругие облачка пара изо  
рта, будто  
в воздушные шары.

У некоторых на облачках, как в комиксах, были написаны  
мысли и афоризмы.

А у постового пар был статичен и имел форму плотной  
белой гусиной ноги. Будто он держал ее во рту за косточку.  
Языки прятались за зубами — чтобы не отморозиться.

Над лодкой перевернутою, ночью,  
над днищем алюминиевым туга,  
гимнастка, изгибающая позвоночник,  
изображает ручку утюга!

В сиянье моря северно-янтарном  
хохочет, в днище впаяна, дыша,  
кусачка, полукровочка, кентаврка,  
ах, полулодка и полудитя...

Полуморская-полугородская,  
в ней полуполоумнейший расчет,  
полутоскует — как полуласкает,  
полуутопит — как полуспасет.

Сейчас она стремглав перевернется.  
Полузвереныш, уплывет — вернется,  
но пальцы утопая в бережок...

Ужо тебе, оживший утюжок!

## Общий пляж № 2

По министрам, по актерам  
желтой пяткою своей  
солнце жарит  
полотером  
по паркету из людей!

Пляж, пляж —  
хоть стоймя, но все же ляжь.

Ноги, прелести творенья,  
этажами — как поленья.  
Уплотненность, как в аду.  
Мир в трехтысячном году.

Карты, руки, ключья кожи,  
как же я тебя найду?  
В середине зонт, похожий  
на подводную звезду, —  
8 спин, ног 8 пар.  
Упоительный поп-арт!

*Пляж, пляж,  
где работают лежа,  
а филоняют стоя,  
где маскируются, раздеваясь,  
где за 10 коп. ты можешь увидеть будущее —  
«От горизонта одного — к горизонту многих...»  
«Извиняюсь, вы не видели мою ногу?»  
Размер 37... Обменяли...»*

*«Как же, вот сейчас видала —  
в облачках она витала.  
Пара крылышков на ей,  
как подвязочки!  
Только уточню: номер 381/2...»*

Горизонты растворялись  
между небом и водой,  
облаками, островами,  
между камнем и рукой.

На матрасе — пять подружек,  
лицами одна к одной,  
как пять пальцев в босоножке  
перетянуты тесьмой.

Пляж и полдень — продолженье  
той божественной ступни.  
Пошевеливает Время  
величавою ногой.

Я люблю уйти в сиянье,  
где границы никакой.  
Море — полусостоянье  
между небом и землей,  
между водами и сушей,  
между многими и мной;  
между вымыслом и сущим,  
между телом и душой.

Как в насыщенном растворе,  
что-то вот произойдет:  
суша, растворяясь в море,  
переходит в небосвод.

И уже из небосвода  
что-то возвращалось к нам  
вроде Бога и природы  
и хождения по водам.

*Понятно, Бог был невидим.  
Только треугольная чайка  
замерла в центре неба,  
белая и тяжело дышащая, —  
как белые плавки Бога...*

\* \* \*

Наш берег песчаный и плоский,  
заканчивающийся сырой  
печальной и темной полоской,  
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,  
налево песочечный быт.  
Меж ними, намокши от горя,  
темнея, дорожка бежит.

Мы больше сюда не приедем.  
Давай по дорожке пройдем.  
За нами — к добру по приметам —  
следы отольют серебром.

## Горный монастырь

Вода и камень.  
Вода и хлеб.  
Спят вверх ногами  
Борис и Глеб.

Такая мятная  
вода с утра —  
вкус Богоматери  
и серебра!

Плюс вкус свободы  
без лишних глаз.  
Как слово Бога —  
природы глас.

Стена и воля.  
Вода и плоть.  
А вместо соли —  
подснежников щепоть!



**Кабанья охота**

Он прет  
на тебя, великолепен.  
Собак  
по пути позарезав.  
Лупи!  
Ну, а ежели не влепишь —  
нелепо перезаряжать!

Он черен. И он тебя заметил.  
Он жмет по прямой, как глиссера.  
Уже между вами десять метров.  
Но кровь твоя четко-весела.

\* \* \*

Очнись — стол как операционный.  
Кабанья застольная компанийка  
на 8 персон. И порционный,  
одетый в хрен и черемшу,  
как паинька,  
на блюде ледяной, саксонской,  
с морковочкой, как будто с соской,  
смирный, голенький лежу.

Кабарышни порхают меж подсвечников.  
Копытца их нежны, как подснежники.  
Кабабушка тянется к ножу.

В углу продавил четыре стула  
центр тяжести литературы.  
Лежу.

Внизу, элегически рыдая,  
полны электрической тоски,

коты с окровавленными ртами,  
вжимаясь в скамьи и сапоги,  
визжат, как точильные круги!

(А кот с головою стрекозы,  
порхая капронными усами,  
висел над столом и, гнусая,  
просил кровяной колбасы.)

Озяб фаршированный животик.  
Гарнир умирающий поет.  
И чаши торжественные сводят  
над нами хозяева болот.

Собратья печальной литургии,  
салат, чернобыльник и другие,  
ваш хор  
меня возвращает вновь к Природе,  
оч. хор  
и зерна, как кнопки на фаготе,  
горят сквозь моченый помидор.

\* \* \*

Кругом умирали культуры —  
садовая, парниковая, византийская,  
кукурузные кудряшки Катулла,  
крашеные яйца редиски  
(вкрутую),  
селедка, нарезанная как клавиатура  
перламутрового клавиесина,  
попискивала.  
Но не сильно.

А в голубых листах капусты,  
как с рокотовских зеркал,  
в жемчужных париках и бюстах  
век восемнадцатый витал.

Скрипели красотой атласной  
кочанные ее плеча,  
мечтали умереть от ласки  
и пугачевского меча.

Прощальной позолотой  
петергофская нимфа лежала,  
как шпрота,  
на черством ломтике пьедестала.

Вкусно порубать Расина!

И, как гастрономическая вершина,  
дрожал на столе.  
аромат Фета, застывший в кувшинках,  
как в гофрированных формочках для желе.  
И умирало колдовство  
в настойке градусов под сто.

\* \* \*

Пируйте, восьмерка виночерпиев.  
Стол, грубо сколоченный, как плот.  
Без кворума Тайная Вечеря.  
И кровь предвкушенная и плоть.

Клыки их вверх дужками закручены.  
И рыла тупые над столом —  
как будто в мерцающих уключинах  
плывет восьмивесельный паром.

Так вот ты, паромщик Харона,  
и Стикса пустынные воды.  
Хреново.  
Хозяева, алаверды!

\* \* \*

Я пью за страшную свободу  
отплыть, усмехнувшись, в никогда.  
Мишени несбывшейся охоты,  
рванем за усопшего стрелка!

Чудовище по имени Надежда,  
я гнал за тобой, как следопыт.  
Все пули уходили, не задевши.  
Отходную! Следует допить.

За пустоту по имени Искусство.  
Но пью за отметины дробин.  
Закусывай!  
Не мсти, что по звуку не добил.

А ты кто? Я тебя, дитя, не знаю.  
Ты обозналась. Ты вина чужая!  
Молчит она. Она не ест, не пьет.  
Лишь на губах поблескивает лед.

А это кто? Ты ж меня любила!  
Я пью, чтоб в Тебе хватило силы  
взять ножик в чудовищных гостях.  
Простят убийство —  
промах не простят.

Пью кубок свой преступный, как агрессор  
и вор,  
который, провоцируя окрестности,  
производил естественный отбор!

Зверюги прощенье ощутили:  
разлукою и хвоей задышав.  
И слезы скакали по щетине,  
и пили на брудершафт.

\* \* \*

Очнулся я, видимо, в бессмертье.  
Мы с ношей тащились по бугру.  
Привязанный ногами к длинной жерди,  
отдав кишки жестяному ведру,  
качался мой хозяин на пиру.

И по дороге, где мы проходили,  
кровь свертывалась в шарики из пыли.

\*\*\*

На спинку божия коровка  
легла с коричневым брюшком,  
как чашка красная в горошек  
налита стынувшим чайком.

Предсмертно или понарошке?

Но к небу, точно пар от чая,  
душа ее бежит отчаянно.

\*\*\*

Да здравствуют прогулки в полвторого,  
проселочная лунная дорога,  
седые и сухие от мороза  
розы черные коровьего навоза!

\*\*\*

Память — это волки в поле,  
убегают, бросив взгляд, —  
как пловцы в безумном кроле,  
озираются назад!

## Время на ремонте

Как архангельша времен  
на часах над Воронцовской  
баба вывела: «Ремонт»,  
и спустилась за перцовкой.

Верьте тете Моте —  
Время на ремонте.

Время на ремонте.  
Медлят сбросить кроны  
просеки лимонные  
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.  
В твисте и нервозности  
женщины — вне возраста.  
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.  
Новости тиражные —  
как позавчерашние.  
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.  
Модницы в чулках,  
в самых смелых «мини» —  
только в челочках.

Мама на «Раймонде».  
Время на ремонте.

Реставрационщик  
потрошит да Винчи.  
«Лермонтов» в ремонте.  
Гаечки там подвинчивают.



*«Я полагаю, что пара вертолетов  
значительно изменила бы ход Аустерлицкого сражения.  
Полагаю также, что наступил момент  
произвести  
девальвацию минуты.*

*Одна старая мин. равняется 1,4 новой. Тогда,  
соответственно, количество часов в сутках  
увеличится, возрастет производительность  
труда, а в оставшееся время мы сможем петь...»*

*Время остановилось.*

*Время 00 — как надпись на дверях.*

*Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты  
подзатынулось?*

*Которые все едят и едят,  
вся жизнь которых — как затянувшийся  
обеденный перерыв,  
которые едят в счет 1995 года,  
вам говорю я:*

*«Вы временны».*

*Канторские и конвейерные,  
чья жизнь — изнурительный  
производственный ритм,*

*вам говорю я:*

*«Временно это».*

*Которая шьет-шьет, а нитка все не кончается,  
которые замерли в 30 м от финиша  
со скоростью 270 км/никогда,*

*вам говорю я:*

*«Увы, и вы временны...»*

*«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже продолбил клавишу,  
так что клавиша стала похожа на домино*

*«пусто-один» —*

*«до-до-до»...*

*Прекрасное мгновенье,  
не слишком ли ты подзатынулось?*

*Помогите Время  
сдвинуть с мертвой точки.*

*Гайки, Канты, лемехи,  
все — вторичисточки.*

Не на семи рубинах  
циферблат Истории —  
на живых, любимых,  
ломкие которые.

Может, рядом, около,  
у подружки ветреной  
что-то больно екнуло,  
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо  
у себя предсердие,  
дайте пересаживать.  
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,  
сжавшийся заложник,  
неизвестность щемит —  
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —  
вдруг не разожмется?  
Если человеческое —  
значит, приживется.

И колеса мощные  
время навернет.  
Временных ремонтщиков  
вышвырнет в ремонт!

С ликом белее мела,  
в тужурочке вороненой,  
дай мне высшую меру,  
комиссар Филонов.

Высшую меру жизни,  
высшую меру голоса,  
высокую,  
как над жижей,  
речь вечевого колокола.

Был ветер над Россией бешеный,  
над взгорьями городов  
крутило тела повешенных,  
как стрелки гигантских часов.

На столике полимеровом —  
трефовые телефоны.  
Дай мне высшую меру,  
комиссар Филонов.

Сегодня в Новосибирске  
кристального сентября  
доклад о тебе бисируют  
студенты и слесаря.

Суровые пуловеры  
угольны и лимонны.  
Дай им высшую веру,  
Филонов!

Дерматинный обыватель  
сквозь пуп,  
как в дверной глазок,

выглядывал: открывать или  
надежнее — на засов!

Художник вишневоглазый  
леса писал сквозь прищур,  
как проволочные каркасы  
не бывших еще скульптур.

Входила зима усмейно.  
В душе есть свои сезоны.  
Дай мне высшую Смену,  
Филонов.

*Небо, кто власа твои расчесывает статные?  
И воды с глубями?  
По железнодорожному мосту идут со станции,  
отражаясь в воде, как гребень с выломанными зубьями.*

*В. Шкловскому*

Жил художник в нужде и гордыне.  
Но однажды явилась звезда.  
Он задумал такую картину,  
чтоб висела она без гвоздя.

Он менял за квартирой квартиру.  
Стали пищею хлеб и вода.  
Жил как йог, заклиная картину.  
А она падала без гвоздя.

Обращался он к стенке бетонной:  
«Дай возьму твои боли в себя.  
На моих неумелых ладонях  
проступают следы от гвоздя».

Умер он, изможденный профессией.  
Усмехнулась скотина — звезда.  
И картину его не повесят.  
Но картина висит без гвоздя.

Лейтенант Неизвестный Эрнст.  
На тысячи верст кругом  
равнину утюжит смерть  
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,  
но сверху в радиосеть:  
«В атаку — зовут — твою мать!»  
И Эрнст отвечает: «Есть».

Но взводик твой землю ест.  
Он доблестно недвижим.  
Лейтенант Неизвестный Эрнст  
идет  
наступать  
один!

И смерть говорит: «Прочь!  
Ты же один, как перст.  
Против кого ты прешь?  
Против громады, Эрнст!

Против —  
четырехмиллионнопятьсотсорокасемитысячевосемь-  
сотдвадцатитрехквдратнокилометрового чудища  
против, —  
против армии, флота, и угарного сброда, против —  
культургервышибал, против национал-  
социализма, —  
против!  
Против глобальных зверств.  
Ты уже мертв, сопляк»?..  
«Еще бы», — решает Эрнст  
И делает  
*Первый шаг!*

И Жизнь говорит: «Эрик,  
живые нужны живым.  
Качнется сирень по скверам  
уж не тебе, а им,  
не будет —

1945, 1949, 1956, 1963 — не будет,  
и только формула убитого человечества станет —  
3 823 568 004 + 1,  
и ты не поступишь в Университет,  
и не перейдешь на скульптурный,  
и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет  
как парное молоко,  
не будет мастерской на Сретенке, которая запирается  
на проволочку,  
не будет выставки в Манеже,  
не будет сердечного разговора с Никитой Сергеевичем,  
и ты не женишься на Анне —

не, не, не...

не будет ни Нью-Йорка, ни «Древа жизни»  
(вернее, будут, но не для тебя, а для белесого  
Митьки Филина, который не вылез тогда из окопа),  
а для тебя никогда, ничего —  
не!

не!

не!..

Лишь мама сползет у двери  
с конвертом, в котором смерть,  
ты понимаешь, Эрик?!  
«Еще бы», — думает Эрнст.

Но выше Жизни и Смерти,  
пронзающее, как свет,  
нас требует что-то третье, —  
чем выделен человек.

Животные жизнь берут.  
Лишь люди жизнь отдают.

Тревожаще и прожекторно,  
в отличие от зверей, —  
способность к самопожертвованию  
единственна у людей.

Единственная Россия,  
единственная моя,  
единственное спасибо,  
что ты избрала меня.

Лейтенант Неизвестный Эрнст,  
когда окружен бабьем,  
как ихтиозавр нетрезв,  
ты пьешь за моим столом,

когда правительства в панике  
хрипят, что ты слаб в гульбе,  
я чувствую, как памятник  
ворочается в тебе.

Я голову обнажу  
и вежливо им скажу:

«Конечно, вы свежевыбриты  
и вкус вам не изменял.  
Но были ли вы убиты  
за родину наповал?»



**Грипп «Гонконг-69»**

Гриппозная пора,  
как можется тебе?  
Гриппозная молва  
в жару, в снегу, в беде.

Беспомощна наука.  
И с Воробьевых гор  
в ночном такси старуха  
бормочет наговор:

«Снега — балахоном».  
Бормочет Горгона:  
«Гонконг, гоу хоум!  
Гонконг, гоу хоум!»

Грипп,  
грипп,  
грипп,  
грипп,  
ты — грипп,  
я — грипп,  
на трех  
могли б...

Грипп... грипп...  
Кипи, скипидар,  
«Грипп — нет!  
Хиппи — да!»

Лили Брик с «Огоньком»  
или грипп «Гонконг»?

Грипп,  
 грипп,  
 хип-хип,  
 гип-гип!  
 «Открой «Стоп-грипп»,  
 по гроб — «Гран-При»!

Райторг  
 открыт.  
 «Нет штор.  
 Есть грипп».  
 «Кто крайний за гриппом?»  
 Грипп, грипп, грипп, грипп, грипп..  
 «Как звать?»  
 «Христос!»  
 «Что дать?»  
 «Грипп — стоп»...

*Одна знакомая лошадь предложила:  
 «Человек — рассадник эпидемии.  
 Стоит уничтожить человечество — грипп прекратится...»*

По городу гомон:  
 «Гонконг, гоу хоум!»  
 Орем Иерихоном:  
 «Гонконг, гоу хоум!»

Взамен «уха-горла» —  
 к нам в дом гинеколог.  
 «Домком? Нету коек».  
 «Гонконг, гоу хоум!»

Не собирайтесь в сборища.  
 В театрах сбор горит.  
 Доказано, что спорящий  
 распространяет грипп.

Целуются затылками.  
 Рты марлей позатыканы.  
 Полгороду  
 народ  
 руки не подает.

И нет медикаментов.  
И процедура вся —  
отмерь 4 метра  
и совершенствуйся.

Любовник дал ходу.  
В альков не загонишь.  
Связь по телефону.  
«Гонконг,  
гоу хоум!»

Любимая моя,  
как дни ни тяжелы,  
уткнусь  
в твои уста,  
сухие от жары.

Бегом по уколам.  
Жжет жар геликоном.  
По ком звонит колокол?..

«Гонконг, гоу хоум!..»

\*\*\*

Зое

Живу в сторожке одинокой,  
один-один на всем свету.  
Еще был кот членистоногий,  
переползающий тропу.

Он, в плечи втягивая жутко  
башку, как в черную трубу,  
вещал, достигнувши желудка,  
мою пропащую судьбу.

А кошка — интеллектом уже.  
Знай, штамповала деток в свет,  
углами загибала ушки  
им, как укладчица конфет.

2 секунды 20 июня 1970 г. в замедленном дубле

*Посвящается АТЕ-37-70, автомашине  
Олжаса Сулейменова*

1

Олжас, сотрясенье — семечки!  
Олжас, сотрясенье — семечки,  
но сплевываешь себе в лицо,  
когда 37-70  
легит через колесо!  
(30 метров полета  
и пара переворотов.)

К а к: «100» при мгновенье запуска,  
сто километров запросто.  
Азия у руля.  
Как шпоры, вонзились запонки  
в красные рукава!

2

К т о: дети Плейбоя и Корана,  
звезда волейбола и экрана,  
печальнейшая из звезд.  
Тараним!  
Расплющен передний мост.  
И мой олимпийский мозг  
впечатан в металл, как в воск.

Как над «Волгою» милицейской  
горит волдырем сигнал,  
так кумпол мой менестрельский  
над крышей цельнолитейной  
синим огнем мигал.  
Из смерти, как из наперстка.

Выдергивая, как из наперстка,  
защемленного меня,  
жизнь корчилась и упорствовала,  
дышала ночными порами  
вселенская пятерня.

Я — палец ваш безымянный  
иль указательный перст,  
выдергиваете меня вы,  
земля моя и поляны,  
воюющие окрест.

3

Звезда моя, ты разбилась?  
Звезда моя, ты разбилась,  
разбилась моя звезда.  
Прогнозы твои не сбылись,  
свистали твои вестя.

Знобило.

Как ноготь из-под зубила,  
синяк чернел в пол-лица.

4

Бедная твоя мама...  
Бедная твоя мама,  
бежала, руки ломала:  
«Олжас, не седлай АТЕ,  
сегодня звезды не те.  
С озер не спугни селезня,  
в костер не плескай бензин,  
АТЕ-37-70  
обидеться может, сын!»

5

(Потом проехала «Волга» скорой помощи,  
еще проехала «Волга» скорой помощи,  
позже  
не приехали из ОРУДа,  
от пруда  
подошли свидетели,  
причмокнули: «Ну, вы — деятели!  
Мы-то думали — метеорит».  
Ушли, галактику поматерив.  
Пролетели века  
в виде дикого гусака  
со спущенными крыльями, как вытянутая рука  
официанта с перекинутым серым полотенцем.

Жить хотелось.  
Нога и щека  
опухли,  
потом прилетели Испуги,  
с пупырышками и в пухе.)

## 6

Уже наши души — голенькие.  
Уже наши души голенькие,  
с крылами, как уши кроликов,  
порхая меж алкоголиков  
и утренних крестьян,  
читали 4 некролога  
в «Социалистик Казахстан»,  
красивых, как иконостас...

А по траве приземистой  
эмалью ползла к тебе  
табличка «37-70».  
Срок жизни через тире.

## 7

Враги наши купят свечку.  
Враги наши купят свечку  
и вставят ее в зоб себе!  
Мы живы, Олжас. Мы вечно  
будем в седле!

Мы дети «37-70»,  
не сохнет кровь на губах,  
из бешеного семени  
родившиеся в свитерах.

С подачи крученые все мячи,  
таких никто не берет.  
Полетный круговорот!  
А сотрясенье — семечки.  
Вот только потом рвет.

Сан-Франциско — это Коломенское.  
Это свет посреди холма.  
Высота, как глоток колодезный,  
холодна.

Я люблю тебя, Сан-Франциско;  
испаряются надо мной  
перепончатые фронтисписы,  
переполненные высотой.

Вечерами кубы парившие  
наполняются голубым,  
как просвечивающие курильщики  
тянут красный, тревожный дым.

Это вырезанное из неба  
и приколотое к мостам  
угрызение за измену  
моим юношеским мечтам.

Моя юность архитектурная,  
прикурю об огни твои,  
сжавши губы на высшем уровне,  
побледневшие от любви.

Как обувка возле отеля,  
лимузины столпились в ряд,  
будто ангелы отлетели,  
лишь галоши от них стоят.

Мы — не ангелы. Черт акцизный  
шлепнул визу — и хоть бы хны...  
Ты вдохни по мне, Сан-Франциско.  
Ты, Коломенское,  
вдохни...



\*\*\*

Сложи атлас, школярка шалая, —  
мне шутить с тобою легко, —  
чтоб Восточное полушарие  
на Западное легло.

Совместятся горы и воды,  
колокольный Великий Иван,  
будто в ножны, войдет в колодец,  
из которого пил Магеллан.

Как две раковины, стадионы,  
мексиканский и Лужники,  
сложат каменные ладони  
в аплодирующие хлопки.

Вот зачем эти люди и зданья  
не умеют унять тоски —  
доски, вырванные с гвоздями  
от какой-то иной доски.

А когда я чуть захмелею  
и прошвыриваюсь на канал,  
с неба колют верхушками ели,  
чтобы плечи не подымал.

Я нашел отпечаток шины  
на ванкуверской мостовой  
перевернутой нашей машины,  
что разбилась под Алма-Атой.

И висят как летучие мыши  
надо мною вниз головой —  
времена, домишки и мысли,  
где живали и мы с тобой.

Нам рукою помашет хиппи.  
Вспыхнет пуговкою обшлаг.  
Из плеча — как черная скрипка  
крикнет гамлетовский рукав.

## Нью-йоркские значки

Блещут бляхи, бляхи, бляхи,  
возглашая матом благим:  
«Люди — предки обезьян»,  
«Губернатор — лесбиян»,  
«Непечатное — в печать!»,  
«Запретите запрещать!»

*«Бог живет на улице Пастера, 18. Вход со двора».*

Обожаю Гринич Вилидж  
в саркастических значках.  
Это кто мохнатый вылез,  
как мошна в ночных очках?

Это Ален, Ален, Ален!  
Над смертельным карнавалом,  
Ален, выскочи в исподнем!  
Бог — ирония сегодня.  
Как библейский афоризм  
гениальное «Вались!».

Хулиганы? Хулиганы.  
Лучше сунуть пальцы в рот,  
чем закиснуть куликами  
буржуазовых болот!

Бляхи по местам филейным,  
коллективным Вифлеемом  
в мыле дают трепака —  
«мини» около пупка.

Это Селма, Селма, Селма  
агитирующей шельмой

подмигнула и — во двор:  
«Мэйк лав, нот уор!»<sup>1</sup>

Бог — ирония сегодня.  
Блещут бляхи над зевотой.  
Тем страшнее, чем смешней,  
и для пули — как мишень!

*«Бог переехал на проспект Мира, 43. 2 звонка».*

И над хиппи, над потопом  
ироническим циклопом  
блещет Время, как значком,  
округлившимся зрачком!

*Ах, Время,  
сумею ли я прочитать, что написано  
в твоих очах,  
мчащихся на меня,  
увеличиваясь, как фары?  
Успею ли оценить твою хохму?..  
Ах, осень в осиновых кружочках...*

*Ах, восемь  
подброшенных тарелочек жонглера,  
мгновенно замерших в воздухе,  
будто жирафа убежала,  
а пятна от нее  
остались...*

Удалется жирафа  
в бляхах, будто мухомор,  
на спине у ней шарахнуто:  
«Мэйк лав, нот уор!»

Лебеди, лебеди, лебеди...  
К северу. К северу. К северу!..  
Кеннеди... Кеннеди... Кеннеди...  
Срезали...

Может, в чужой политике  
не понимаю что-то?  
Но понимаю залитые  
кровью беспомощной щеки!

Помню, качал рассеянно  
целой еще головою,  
смахивал на Есенина  
падающей копною.

Как у того, играла,  
льнула луна на брови...  
Думали — для рекламы,  
а обернулось — кровью.

Незащищенность вызова  
лидеров и артистов,  
прямо из телевизоров  
падающих на выстрел!

Ах, как тоскуют корни,  
отнятые от сада,  
яблоней на балконе  
на этаже тридцатом!..

Яблони, яблони, яблони —  
к дьяволу!..  
Яблони небоскребов —  
разве что для надгробьев.

Уже, наверно, час тому, как  
рассвет означает на стене  
ряды улиточек-домушниц  
с кибиточками на спине.

Магометанские моллюски,  
их продвижение — не иллюзия.  
И, как полосочки слюды,  
за ними тянутся следы.

Они с катушкой скотча схожи,  
как будто некая рука  
оклеивает тайным скотчем  
дома и судьбы на века.

С какой решительностью тащат —  
без них, наверно б, мир зачах —  
домов, замужеств, башен тяжесть  
на слабых влажных язычках!

Я погружен в магометанство,  
секунды протяженьем в год,  
где незаметна моментальность  
и видно, как гора идет.

Эпохой, может, и побрезгуют.  
Но миллиметра не простят.  
Посылки клеят до востребования.

Куда летим? Кто адресат?

Сашка Марков, ты — король лаборатории.  
Шишка сыска, стихотворец и дитя.  
Пред тобою все оторвы припортовые  
обожающе снижают скорости.

Кабинет криминалистики — как перечень.  
Сашка Марков, будь Вергилием, веди!  
Обвиняемые или потерпевшие,  
стонут вещи с отпечатками беды.

Чья вина позапекалась на напильнике?  
Группа крови. Заспиртованный урод.  
Заявление: «Раскаявшись, насильника  
на поруки потерпевшая берет».

И, глядя на эту космографию,  
точно дети нос приплюснувши во мрак,  
под стеклом стола четыре фотографии —  
ах, Марина, Маяковский, Пастернак...

Ах, поэты, с беззаветностью отдавшиеся  
ситуациям, эпохам, временам, —  
обвиняемые или пострадавшие,  
с беспощадностью прощающие нам!

Экспертиза, называемая славою,  
в наше время для познания нет преград.  
Знают правые, что левые творят,  
но не ведают, где левые, где правые...

И, глядя в меня глазами потеплевшими,  
инстинктивно проклиняемое мной,  
обвиняемое или потерпевшее,  
воет Время над моею головой!

Победители, прикованные к пленным.  
Невменяемой эпохи лабиринт.  
Просветление на грани преступления.  
Боже правый, Сашка Марков, разберись...



## Скрытымным

«Скрытымным» — это пляшут омичи?  
скрип темниц? или крик о помощи?  
или у Судьбы есть псевдоним,  
темная ухмылочка — скрытымным?

Скрытымным — то, что между нами.  
То, что было раньше, вскрыв, темним.  
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами  
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным — языков праматерь.  
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.  
Планы прогнозируем по сопромату,  
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»  
Из-за «скрытымными» закрыли Крым.

Скрытымным — это не силлабика.  
Лермонтов поэтому непереводим.  
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.  
Где ее могила? — скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:  
«Шагадам, магадам, скрытымным!»  
Но не забывайте — рухнул Рим,  
не поняв приветствия: «Скрытымным».

## Скупщик краденого

## I

Приценись ко мне в упор,  
бюрократина.  
Ты опаснее, чем вор,  
скупщик краденого!

Лоб крапленый полон мыслями,  
белый как Наполеон,  
челка с круглыми залысинами  
липнет трефовым тузом...

Символы предметов реют  
в твоей комнате паучей,  
как вещевая лотерея:  
вещи есть — но шиш получишь!

## II

Кражи, шмотки и сапфиры  
зашифрованы в цифири:

«№ 4704 . . . . . моторчик марки «Ява»,  
«Волга» (угнанная явно).

Неразборчивая цифра . . . . . списанная машина шифера,  
пешка Бобби Фишера,  
ключ от сейфа с шифром,  
где деньги лежат.

200 000 . . . . . гора Арарат,  
на остальные пятнадцать  
номеров подряд  
выпадает по кофейной  
чашечке с вензелем  
«отель «Украина»,

печать райфина  
или паникадило  
(по желанию),  
или четырехкомнатная  
«малина»  
на площади Восстания,  
или старый «Москвич»  
(по желанию).

236-49-45 ..... непожилая,  
но крашенная под серебро  
прядь  
поможет Вам украсть  
тридцать минут счастья +  
кофе в номер  
(или пятнадцать рублей  
денег).

Демпинг!  
(Тем же награждаются все  
последующие  
четные номера.)

№ 14709 ..... Памятник. Кварц в позолоте.  
С надписью «Наследник —  
тете».

Инв. № 147015 ..... Библиотечный штамп  
лиловый  
Золотые буквы сбоку:  
«Избранное поэта О-ва»  
(где сто двадцать строчек  
Блока).

№ 22100 ..... Пока еще неизвестно что

№ 48 ..... Манто, кожаное, но  
хлоркой сведено пятно.

№ 1968 ..... Судья класса «А»,  
мыло «Москва».

На оставшийся 21 билет  
выпадает 10 лет».

## III

Размечталась, как пропеллер,  
воровская лотерея:  
«Бриллианты миссис Тэйлор,  
и ворованные ею  
многодетные мужчины,  
и ворованная ими  
нефть печальных бедуинов,  
и ворованные теми  
самолеты в Йемене,  
и ворованное время  
ваше, читатель, к этой теме,  
и ворованные Временем  
наши жизни в море бренном,  
где ворованы нырлящиком  
бриллианты нереальные,  
что украли душу, тело  
у бедняжки миссис Тэйлор»...

## IV

И на голос твой с порога,  
мел сметая с потолков,  
заглянет любитель Блока  
участковый Уголков,  
потоскует синеоко  
и уйдет, не расколов.

(Посерьезнее Голгоф  
участковый Уголков.)

С этой ночи нет покоя.  
Машет в бедной голове  
синий махаон с каймою  
милицейских галифе.

Чуть застежка залоснилась.  
как у бабочки брюшко.  
Что вы, синие, приснились?  
Укатают далеко.  
(Где посылки до кило.)

Дочь твоя ушла, вернулась  
и к окошку отвернулась,  
молода, худа и сжата,  
плоскозада, как лопата,  
со скользящим желобком —  
закопает вечерком —  
с корешами вчетвером!

Рысь, наследница, невеста.  
И дежурит у подъезда  
вежливый, как прокурор,  
эксплуатируемый вор.

## V

«Хорошо б купить купейный  
в детство северной губернии,  
где безвестность и тоска!..  
Да накрылись отпуска.

Жжет в узле кожанка краденая.  
Очищают дачу в Кратове.  
Блюминг вынести — раз плюнуть!  
Но кому пристроишь блюминг?..»

По Арбату вьюга дует...  
С радией, как рыболов,  
эти мысли пеленгует  
участковый Уголков.

**Молитва**

Когда я придаю бумаге  
черты твоей поспешной красоты,  
я думаю не о рифмовке —  
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бассейной  
ко мне припустишь из воды,  
молю не о души спасенье —  
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,  
как спирт ударит нашатырный,  
послегрозовые сады —  
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо  
стрекозы посреди полей  
стоят, как черные шурупы  
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,  
что только вымолвишь: «Прости,  
за что мне это, человеку!  
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —  
забыли принести.  
«Господь, — скажу, — или Россия,  
назад не отпусти!»

\*\*\*

Суздальская Богоматерь,  
сияющая на белой стене,  
как кинокассирша  
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне  
билет,  
куда не допускают  
после шестнадцати...

**Выпусти птицу!**





\*\*\*

Стихи не пишутся — случаются,  
как чувства или же закат.  
Душа — слепая соучастница.  
Не написал — случилось так.

**Сначала**

Достигли ли почестей постных,  
рука ли гашетку нажала —  
в любое мгновение не поздно,  
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,  
но новые есть обороты.  
Ваш поезд расшибся. Попробуйте  
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,  
спине вашей зябко и плоско,  
как будто отхвачено заступом  
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,  
не те вас кимвалы манили,  
иными их быть не заставите —  
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,  
что не ядовиты анчары,  
великое четверостишье  
и начал сначала!

Начните с беславья, с безденежья.  
Злорадствует пусть и ревнует  
былая твоя и нездешняя —  
начните иную.

А прежняя будет товарищем.  
Не ссорьтесь. Она вам родная.  
Безумие с ней расставаться,  
однако

вы прошлой любви не гоните,  
вы с ней поступите гуманно —  
как лошадь, ее пристрелите.  
Не выжить. Не надо обмана.

## Песня шута

Оставьте меня одного,  
оставьте,  
люблю это чудо в асфальте,  
да не до него!

Я так и не побыл собой,  
я выполню через секунду  
людскую мою синекуру.  
Душа побывает босой.

Оставьте меня одного;  
без нянек,  
изгнанник я, сорванный с гаек,  
но горше всего,

что так доживешь до седин  
под пристальным сплетневым оком  
то «вражьих», то «дружеских» блоков.  
Как раньше сказали бы — с Богом  
оставьте один на один.

Свидетели дня моего,  
вы были при спальне, при родах,  
на похоронах хороводом.  
Оставьте меня одного.

Оставьте в чащобе меня.  
Они не про вас, эти слезы,  
душа наравится одна —  
до дна! —

где кафельная береза,  
положенная у пня,  
омыта сияньем белесым.  
Гляди ж — отыскалась родня!

Я выйду, ослепший как узник,  
и выдам под хохот и вой:  
«Душа — совмещенный санузел,  
где прах и озноб душевой.

...Поэты и соловьи  
поэтому и священны,  
как органы очищенья,  
а стало быть, и любви!

А в сердце такие пространства,  
алмазная ипостась,  
омылась душа, опросталась,  
чего хваталась от вас».

**Васильки Шагала**

Лик ваш серебряный, как алебарда.  
Жесты легки.  
В вашей гостинице аляповатой  
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!  
С Витебска ими раним и любим.  
Дикорастущие сорные тюбики  
с дьявольски  
выдавленным  
голубым!

Сирий цветок из породы репейников,  
но его синий не знает соперников.  
Марка Шагала, загадка Шагала —  
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,  
в хохоте нэпа и чебурек.  
Во поле хлеба — чуточку неба.  
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —  
с чисто готической тягью вверх.  
Поле любимо, но небо возлюблено.  
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.  
Зонтик раскройте, идя на проспект.  
Родины разны, но небо едино.  
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя  
на Елисейские, на Поля?

Как заплетали венок Вы на темя  
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.  
Доля художников хуже калек.  
Давать им сребреники нелепо —  
небом единым жив человек.

Не протрубили трубы Господни  
над катастрофою мировой —  
в трубочку свернутые полотна  
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,  
пока не выступят васильки?  
Твои сорняки всемирно красивы,  
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!  
По полю дрожь.  
Поле пришпорено васильками,  
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,  
во поле углические зрочки.  
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,  
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,  
ах, Марк Захарович, нарисуйте  
непобедимо синий завет —  
Небом Единым Жив Человек.



**Бобровый плач**

Я на болотной тропе вечерней  
встретил бобра. Он заплакал вхлюп.  
Ручкой стоп-крана  
торчал плачевно  
красной эмали передний зуб.

Вставши на ласты, наморщась жалко  
(у них чешуйчатые хвосты),  
хлещет усатейшая русалка.  
Ну, пропусти! Ну, пропусти!

(Метод нашли, ревуны коварные.  
Стоит затронуть их закуток,  
выйдут и плачут  
пред экскаватором —  
экскаваторщик наутек!

Выйдут семейкой и лапки сложат,  
и заслонят от мотора кров.  
«Ваша сила —  
а наши слезы.  
Рев — на рев!»)

В глазках старенького ребенка  
слезы стоят на моем пути.  
Ты что — уличная колонка?  
Ну, пропусти, ну, пропусти!

Может, рыдал, что вода уходит?  
Может, иное молил спасти?  
Может быть, мстил за разор угодий!  
Слезы стоят на моем пути.

Что же колени мои ослабли?  
Не останавливали пока

ни телефонные Ярославны,  
ни бесноватые слезы царька.

Или же заводи и речешник  
вышли дорогу не уступать,  
вынесли плачущий  
Образ Пречистый,  
        чтоб я опомнился, супостат?

Будьте бобры, мои годы и доли,  
не для печали, а для борьбы,  
встречные  
плакальщики  
укора,  
будьте бобры,  
будьте бобры!

Непреступаемая для поступи,  
непреступаемая стезя,  
непреступаемая — о Господи! —  
непреступаемая слеза...

Я его крыл. Я дубасил палкой.  
Я повернулся назад в сердцах.  
Но за спиной моей новый плакал —  
непроходимый другой в слезах.

\*\*\*

Не придумано истинней мига,  
чем раскрытые наугад —  
недочитанные, как книга, —  
разметавшись, любовники спят.

\*\*\*

Не возвращайтесь к былым возлюбленным,  
былых возлюбленных на свете нет.  
Есть дубликаты — как домик убранный,  
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,  
и расположенные на холме  
две рощи — правая, а позже левая —  
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,  
как будто в стереоколонках двух,  
все, что ты сделала и что я сделаю,  
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,  
ложное эхо предложит чай,  
ложное эхо оставит на ночь,  
когда ей надо бы закричать:

«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,  
мы были раньше, нас больше нет,  
две изумительные изюминки,  
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,  
вы в речку выбросите ключи,  
и роща правая, и роща левая  
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.  
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

**Выпусти птицу!**

Что с тобой, крашеная, послушай?!  
Модная прима с прядью плакучей,  
бросишь купюру —  
выпустишь птицу.  
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!  
Как щебетала в клетке из тиса  
та аметистовая четвертная —  
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,  
месячный заработок свой горький  
и «Геометрию» Киселева,  
ставшую рыночную оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,  
люди сматерятся,  
будет обед твой — булочка в полдник,  
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,  
пусты лимонные филармонии,  
пусть не себя — из неволи и сытости —  
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю  
бабскую выходку на базаре.  
«Ты дефективная, что ли, деваха?  
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!  
Вымыла в горнице половицы.  
Ах, не латунную, а золотую!..  
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы трети сутки с тобою в раздоре,  
чтоб разрядиться,  
выпусти сладкую пленницу горя,  
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,  
в небо синицу!  
Дело отлова — доля мужская,  
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,  
словно крыло самолетное снизу,  
в огненных знаках  
над рынком струится, выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..  
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца  
пятнышко едкое и жемчужное —  
память о птице.

## У озера

Прибегала в мой быт холостой,  
задувала свечу, как служанка.  
Было бешено хорошо  
и задуматься было ужасно!

Я проснусь и промолвлю: «Да здррра-  
вствует бодрая температура!»  
И на высохших после дождя  
громких джинсах — налет перламутра.

Спрыгну в сад и окно притворю,  
чтобы бритва тебе не жужжала.  
Шнур протянется  
в спальню твою.  
Дело близилось к сентябрю.  
И задуматься было ужасно,

что свобода пуста, как труба,  
что любовь — это самодержавье.  
Моя шумная жизнь без тебя  
не имеет уже содержания.

Ощущение это прошло,  
прошуршавши по саду ужами...  
Несказуемо хорошо.  
А задуматься — было ужасно.

Мы снова встретились. И нас  
везла машина грузовая.  
Влюбились мы — в который раз.  
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.  
Любила и любовь давала.  
Мы годы прожили с тобой.  
Но ты меня не узнавала!



Нигилисточка, моя прапракузиночка!  
Ждут жандармы у крыльца на воронях.  
Только вздрагивал, как белая кувшиночка,  
гимназический стоячий воротник.

Страшно мне за эти лилии лесные,  
и коса, такая спелая коса!  
Не готова к революции Россия.  
Дурочка, разуй глаза.

«Я готова, — отвечаешь, — это — главное».  
А когда через столетие пройду,  
будто шейки гимназисток обезглавленных,  
вздрагнут белые кувшинки на пруду.

Ты молилась ли на ночь, береза?  
Вы молились ли на ночь,  
запрокинутые озера  
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы  
Покрова и Успенья?  
Покою у забора.  
Надо, чтобы успели.

У лугов, что скосили,  
запах автомобилей...  
Ты молилась, Россия?  
Как тебя мы любили!

## НТР

Моя бабушка — староверка,  
но она —  
научно-техническая революционерка.  
Кормит гормонами кабана.

Научно-технические коровы  
следят за Харламовым и Петровым,  
и, прикрываясь ночным покровом,  
сексуал-революционерка Сударкина,  
в сердце,  
как в трусики-безразмерки,  
умещающая пол-Краснодара,  
подрывает основы  
семьи,  
частной собственности  
и государства.

Научно-технические обмены  
отменны.  
Посылаем Терпсихору —  
получаем «Пепси-колу».

И все-таки это есть Революция —  
в умах, в быту и в народах целых.  
К двенадцати стрелки часов крадутся —  
но мы носим лазерные, без стрелок!

Я — попутчик  
научно-технической революции.  
При всем уважении к коромыслам  
хочу, чтобы в самой дыре заваливающей  
был водопровод  
и свобода мысли.

За это я стану на горло песне,  
устану — товарищи подержат за горло.  
Но певчее горло с дыхательным вместе —  
живу, не дыша от счастья и горя.

Скажу, вырываясь из тисков стиха,  
тем горлом, которым дышу и пою:  
«Да здравствует Научно-техническая,  
перерастающая в Духовную!»

Революция в опасности!  
Нужны меры.  
Она саботажникам не по нутру.  
Научно-технические контрреволюционеры  
не едят синтетическую икру.

## Похороны Гоголя Николая Васильича

1. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...

*Н. В. Гоголь. «Завещание»*

### I

Вы живого несли по стране!  
Гоголь был в летаргическом сне.  
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,  
но ко мне не проникнет, шума, —  
отпеванье неясное слышу,  
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,  
наблюдая, с какою кручиной  
погружается нос мой в лицо,  
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!  
Любят похороны в России,  
поминают, когда вы мертвы,  
забывая, пока вы живые.

Плоть худую и грешный мой дух  
под прощальные плачи волшебные  
заколачиваете в сундук,  
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,  
летаргическая немота —  
позабывать, как звучат слова...

## II

«Поднимите мне веки,  
соотечественники мои,  
в летаргическом веке  
пробудитесь от галиматы.  
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,  
мои книги читавший под партой,  
потрудитесь понять, что со мной.  
Нет, отходят попарно.

Под Уфой затекает спина,  
под Рязанью мой разум смеркается.  
Вот одна подошла, поняла...  
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.  
Мною сделанное — минимально.  
Мне впивается в шею комар,  
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,  
плоть живую я скрещивал с тленьем.  
Помоги мне подняться, Господь,  
чтоб упасть пред тобой на колени.

Летаргическая благодать,  
летаргический балаган —  
спать, спать, спать...

Я вскрывал, пролетая, гроба  
в предрассветную пору,  
как из складчатого гриба,  
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как в стручках,  
оробелых царевен горошины.  
Что достигнуто? Я в дураках.  
Жизнь такая коротка!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,  
с той же скоростью из стакана

испаряются пузырьки  
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,  
как беспомощно знать и желать,  
что стоит недопитый стакан!

### III

«Из-под фрака украли исподнее.  
Дует в щель. Но в нее не просунуться.  
Что там муки Господние  
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.  
Трое выпили на могиле.  
Любят похороны у нас,  
как вы любите слушать рассказ,  
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.  
Гоголь, скорчась, лежит на боку.  
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу».

В человеческом организме  
девяносто процентов воды,  
как, наверное, в Паганини  
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —  
вас растаптывает толпа,  
в человеческом назначении  
девяносто процентов добра.

Девяносто процентов музыки,  
даже если она беда,  
так во мне, несмотря на мусор,  
девяносто процентов тебя.



**Монолог читателя**

Четырнадцать тысяч пиитов  
страдают во мгле Лужников.  
Я выйду в эстрадных софитах —  
последний читатель стихов.

Разинувши рот, как минеры,  
скажу в ликование:  
«Желаю прослушать Смирновых  
неопубликованное!»

Три тыщи великих Смирновых  
захлопают, как орлы  
с трех тыщ этикеток «Минводы»,  
пытаясь взлететь со скалы.

И хор, содрогнув батисферы,  
сольется в трехтысячный стих.  
Мне грянут аплодисменты  
за то, что я выслушал их.

Толпа поэтессок минорно  
автографов ждет у кулис.  
Доходит до самоубийств!  
Скандирующие сурово  
Смирновы, Смирновы, Смирновы  
желают на «бис».

И снова как реквием служат,  
я выйду в прожекторах,  
родившийся, чтобы слушать  
среди прирожденных орать.

Заслуги мои небольшие,  
сутул и невнятен мой век,

среди тысячей небожителей —  
единственный человек.

Меня пожалеют и вспомнят.  
Не то, что бывал я пророк,  
а что не берег перепонки,  
как раньше гортань не берег.

«Скажи в меня, женщина, горе,  
скажи в меня счастье!  
Как плачем мы, выбежав в поле,  
но чаще, но чаще

нам попросту хочется высвободить  
невысказанное, заветное...  
Нужна хоть кому-нибудь исповедь,  
как Богу, которого нету!»

Я буду любезен народу  
не тем, что творил монумент,—  
невысказанную ноту  
понять и услышать сумел.

Ты кричишь, что я твой изувер,  
и, от ненависти хорошея,  
изгибаешь, как дерзкая зверь,  
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою  
не стерплю, побледнею от вздору.  
Но тебя я боготворю.  
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,  
жив покуда,  
будет люд тебе в храмах служить,  
на тебя молясь, на паскуду.

Подарили, подарили  
золотое, как пыльца.  
Сдохли б Вены и Парижи  
от такого платьица!

Драгоценная потеря,  
царственная нищета.  
Будто тело запотело,  
а на теле — ни черта.

Обольстительная сеть,  
золотая ненасыть.  
Было нечего надеть,  
стало некуда носить.

Так поэт, затосковав,  
ходит праздно на проспект.  
Было слов не отыскать,  
стало не для кого спеть.

Было нечего терять,  
стало нечего найти.  
Для кого играть в театр,  
когда зритель не «на ты»?

Было зябко от надежд,  
стало пусто напоследь.  
Было нечего надеть,  
стало незачем надеть.

Я б сожгла его, глупыш.  
Не оцените кульбит.  
Было страшно полюбить,  
стало некого любить.

## Художники обедают в парижском ресторане «Кус-кус»

Г. Маркесу

### I

Мой собеседник — кроткий,  
баской!  
Он челюсть прикрыл бородкой,  
как перчаточкою боксер.

«Кус-кус» на меню не сетует —  
повара не учит!  
Мой фантастический собеседник  
заказывает  
*дичь.*

«Коровы летают?  
Летают.  
Неси.  
Короны летают?  
Но в аут.  
Мерси».

А красный Георгий на блюде  
летел на победных крылах,  
где, как лебединые  
клювы, копыта на белых ногах.

И парочкой на излете,  
летая во мраке ночном,  
кричали Тристан и Изольда,  
обнявшись,  
как сэндвич с мечом.

Поэты — не куропатки.  
Но если раздеть догола,  
обломок  
ножа под лопаткой  
сверкнет  
как обломок крыла.

А наши не крылья — зонтики  
стекают в углу, как китч.  
Смакует мой гость: «Экзотика!  
Отличнейшая дичь!»

## II

Голодуха, брат, голодуха!

Ухо

а-ля Ван-Гог . . . . . 150 000

фаршированный вагон

вмятку . . . . . на 1000 персон

пятка,

откушенная у Рокфеллера (Н. Гвинея) . . . . .

неочищенная фея . . . . . для 3-х персон

цветочная корзинка Сены

с ручкою моста . . . . .

ирисы . . . . . 2 фр.

полисмены в фенах,

сидящие как Озирисы . . . . .

Дебре трехлетней выдержки . . . . .

роман без выдержки и урезки . . . . .

Р. Фиш (по-турецки) . . . . . 5000 экз.

шиш с маслом . . . . . 450 000

хлеб с маслом . . . . . 2 фр.

блеф с Марсом . . . . . 1000000000000

«Мне нравится тот гарсон  
в засахаренных джинсах с бисером»

Записываем:

«1 Фиат на 150000 персон,

3 Фиата на 1 персону»

Иона . . . . . 2 миллиона лет

сласти власти . . . . . 30 монет

разблюдовка в стиле Людовика . . . . .

Винегрет . . . . . нет

конфеты «Пламенный привет» . . . . . нет

вокальный квинтет . . . . . нет

Голодуха, брат, голодуха

особо в области духа! —

а вместо третьего

мост Александра III-го . . . . . 188?

Голодуха, брат, голодуха  
от славы, тоски, сладостей,  
чем больше пропустишь в брюхо,  
тем в животе пустей!

Мы — как пустотелые бюсты,  
с улыбочкою без дна,  
глотаешь, а в сердце пусто —  
бездна!

«Rubajem» (испанск.), Андрюха».  
Ешь неизвестно что,  
голодуха, блин, голодуха!  
Есть только растущий счет.

А бледный гарсон за подносом  
летел, не касаясь земли,  
как будто схватясь за подножку,  
когда поезда отошли...

Ах, кто это нам подмаргивает  
из пиц?  
Габр. Маркес помалкивает —  
отличнейшая дичь!

В углу драматург рубает  
противозачаточные таблетки.  
Завтра его обсуждают.  
Как бы чего не вышло!..

На нем пиджачок, как мякиш, —  
что смертному не достичь.  
Отличная дичь — знай наших!  
Послушаем, что за спич?

### III

«На дубу написано «Валя».  
Мы забыли, забыли с вами,  
не забыли самих названий,  
позабыли, зачем писали.

На художнике надпись «сука»,  
у собаки кличка «Наука».

«Правдолюбец» на самодержжце.  
Ты куда, «Аллея Надежды»?  
И зачем посредине забора  
изречение: «убей ухажора?»

И, уверовав в слов тождественность  
в одиночайшем из столетий,  
кто-то обнял доску, как женщину.  
Но это надпись на туалете.

И зачем написано «Лошадь»  
на мучительной образине,  
в чьих смычковых ногах заложена  
одна сотка автомашины?»

#### IV

«Кус-кус» пустеет во мраке,  
уносят остатки дичи.  
«Dixi».

И, плюнув на зонт и дождик,  
в нелетнейший из дождищ  
уходят под дула художники —  
отличнейшая дичь!



\*\*\*

Тираны поэтов не понимают,  
когда понимают — тогда убивают.

Прощайте, Семен Исаакович.  
Фьюить!  
Уже ни стихом, ни сагою  
оттуда не возвратить.

Почетные караулы  
у входа в нездешний гул  
ждут очереди понуро,  
в глазах у них: «Караул!»

Пьерошка в одежде елочной,  
в ненастиях уцелев,  
серебрянейший, как перышко,  
просиживал в ЦДЛ.

Один, как всегда, без дела,  
на деле же — весь из мук,  
почти что уже без тела  
мучительнейший звук.

Нам виделось кватроченто,  
и как он, искусник, смел...  
А было — кровотечение  
из горла, когда он пел!

Маэстро великолепный,  
а для толпы — фигляр...

Невыплаканная флейта  
в красный легла футляр.

\*\*\*

Приди! Чтоб снова снег слепил,  
чтобы желтела на опушке,  
как александровский амфир,  
твоя дубленочка с опушкой.

## В непогоду

З. Б.

В дождь как из Ветхого завета  
мы с удивительным детиной  
плечом толкали из кювета  
забуксовавшую машину.  
В нем русское благообразие  
шло к византийской ипостаси.  
В лицо машина била грязью  
за то, что он ее вытаскивал.  
Из-под подфарника пунцового  
брандспойтово хлестала жижа.  
Ну и колеса пробуксовывали,  
казалось, что не хватит жизни!  
Всего не помню, был незряч я  
от этой грязи молодецкой.  
Хозяин дома близлежащего  
нам чинно вынес полотенца.  
Спаситель отмывался, терся,  
отшучивался, балагурия.  
И неумелая шоферша  
была лиха и белокура.  
Нас высадили у заставы  
на перекрестке мокрых улиц.  
Я влево уходил, он вправо,  
дороги наши разминулись.

Милые мои слепые,  
слепые поводыри,  
меня по своей России,  
невидимой, повели.

Зеленая, голубая,  
розовая на вид,  
она, их остерегая,  
плачет, скрипит, кричит.

Прозрейте, товарищ зрячий,  
у озера в стоке вод.  
Вы слышите — оно плачет?  
А вы говорите — цветет.

Чернеют очки слепые,  
отрезанный мир зовут —  
как ветви живьем спилили,  
следы окрасив в мазут.

Скажу я вам — цвет ореховый,  
вы скажете — гул ореха.  
Я говорю — зеркало,  
вы говорите — эхо.

Вам кажется Паганини  
красивейшим из красавцев,  
Сильвана же Помпанини —  
сиплая каракатица,  
им пудреница покажется  
эмалевой панагией.

Вцепились они в музыкальность,  
выставив вверх крюки,

как мы на коньках крючками  
цеплялись за грузовики.

Пытаться читать стихи  
в «Обществе слепых» —  
пытаться скрывать грехи  
в обществе святых.

Плевать им на куртку кожаную,  
на показуху рук,  
они не прощают кожею  
наглый и лживый звук.

И дело не в рифмах бедных —  
они хорошо трещат, —  
но пахнут, чем вы обедали,  
а надо петь натошак!

В вашем слепом обществе,  
всевидащем, как Вишну,  
вскричу, добредя ощупью:  
«Вижу!» —

зеленое зеленое зеленое  
заплакало заплакало заплакало  
зеркало зеркало зеркало  
эхо эхо эхо

## Говорит мама

Когда ты была во мне точкой  
(отец твой тогда настаивал),  
мы думали о тебе, дочка,—  
оставить или не оставить?

Рассыпчатые твои косы,  
ясную твою память  
и сегодняшние твои вопросы:  
«оставить или не оставить?»

## Аисты

*В. Жаку*

В гнезде, венчающем березу,  
стояли аист с аистихою  
над черным хутором бесхозным  
бессмысленно и артистично.

Гнездо приколото над чашею,  
как указанье Вифлеема.  
Две шеи выгнуты сладчайше.  
Вот так змея стоит над чашею,  
став медицинской эмблемой.

Но заколочено на годы  
внизу хозяйское гнездовье.  
Сруб сгнил. И аист без работы.  
Ведь если награждать любовью,  
то надо награждать — кого-то.

Я думаю, что Белоруссия  
семей не возместила все еще.  
Без них и птицы безоружные.  
Вдруг и они без аистеныша?..

...Когда-нибудь, дождем накрытая,  
здесь путница с пути собьется,  
и от небесного события  
под сердцем чудо в ней забьется.

Свое ощупывая тело,  
как будто потеряла спички,  
сияя, скажет: «Залетела.  
Я принесу вам сына, птички».



## Летающий мужик

### I

Встречая стадо в давешние лоты,  
мне объясняла бабушка приметы:  
«Раз в стаде первой белая корова,  
то завтра будет чудная погода».

### II

Коровы, пятясь, как аэротрапы,  
пасутся, сунув головы в луга.  
И подымались  
плачущие травы  
по их прощальным шеям  
голубым.  
И если лидер — светлая корова,  
то, значит, будет летная погода!  
Коровьи отношенья с небесами  
еще не удавалось прояснить.  
Они, пожалуй, не летают сами,  
но понимают небо просинить.  
Раз впереди красивая корова,  
то утро будет синим, как Аврора.

### III

На фермах блещут полиэтилены.  
Навоз вниз эскалатором плывет,  
как пассажиры  
в метрополитене.  
И это лучше, чем наоборот.

Как зубры ненавидят мотоциклы!  
Копытные эпохи ледников  
несутся за трещоткой малосильной.  
Бедуля ненавидит дураков.

## IV

Ему при Иоанне шапку сдуло,  
но не поклон, не хулиганский шик —  
Владимира Леонтьича Бедулю  
я бы назвал «Летающий мужик».

Летит мужик — на собственной конструкции,  
летит мужик — по Млечному Пути,  
лети, мужик!

Держись за землю, трусы.  
Пусть снимут стружку.

Легче ведь. Лети!

А если первой скучная корова,  
то, значит, будет скучная погода.

## V

Он стенгазеты упразднил, взамен  
воздвиг радиостанцию пастушью,  
чтоб плыли  
сообщения  
воздушные

в дистанции 12 деревень.

Над Беловежьем плакала Вселенная.

И нету рифмы на ответный тост.

Но попросил он «Плач по двум поэмам».

А я-то думал, что Бедуля прост.

## VI

Нет правды на земле.

Но правды нет и выше.

Бедуля ищет правду под землей.

Глубоко пашет и, припавши, слышит,  
как тяжело ей приходится, родной!

Его и славословили, и крыли.

Но поискам — не до шумих.

Бедуля дует на подземных крыльях!

Я говорю: «Летающий мужик».

Все марты поменялись на июли.

Коровы, что ли, балуют, Бедуля?

## VII

Коровы программируют погоды.  
Их перпендикулярные соски  
торчат,  
на руль Колумбовый похожи.  
Им тоже снятся Млечные Пути.

Когда взгрустнут мои аэродромы,  
Пришли, Бедуля, белую корову!

## Лесник играет

*Р. Щедрину*

У лесника поселилась залетка.  
Скрипка кричит, соревнуясь с фрамугою.  
Как без воды  
рассыхается лодка,  
старая скрипка  
рассохлась без музыки.

Скрипка висела с ружьями рядом.  
Врезалась майка в плеча задубелые.  
Правое больше привыкло к прикладам,  
и поотвыкло от музыки  
левое.

Но он докажет этим мазурикам  
перед приезжей с глазами фисташковыми —  
левым плечом  
упирается в музыку,  
будто машину  
из грязи вытаскивает!

Ах, покатила, ах, полетела...  
Вслед тебе воют волки лесничества...  
Майки изогнутая бретелька —  
как отпечаток шейки скрипичной.

Он вышел в сад. Смеркался час.  
Усадьба в сумраке белела,  
смущая душу, словно часть  
незагорелая у тела.

А за самим особняком  
пристройка помнилась неясно.  
Он двери отворил пинком.  
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.  
Тогда здесь спальня находилась.  
Она отставила шитье  
и ничему не удивилась.

## Королевская дочь

Ты — дочь полководца и плясуньи.  
Я — вроде придворного певца.  
Ко мне прибегаешь в полнолуние  
в каморку, за статуей отца.

В годину сражений и пожара,  
зубами скрипя, чтоб не кричать,  
всю совесть свою, чтоб не мешала,  
вдохнул он в твою хмельную мать.

Родилась ты светлая такая!  
Но как-то замороженно-тиха.  
Заснув со мной перед петухами,  
кричишь, как от страшного греха.

Тогда постаменты опустеют.  
И я холодею, как мертвец,  
когда  
по прогнувшимся  
ступеням  
          ступает твой каменный отец.

\*\*\*

На площади судят нас, трех воров.  
Я тоже пытаюсь дознаться — кто?  
Первый виновен или второй?  
Но я-то знаю, что я украл.

Первый признался, что это он.  
Второй улики кладет на стол.  
Меня прогоняют за то, что вру.  
Но я-то помню, что я украл.

Пойду домой и разрою клад,  
где жемчуг теплый от шеи твоей...

И нет тебя засвидетельствовать,  
чтобы признали, что я украл.

\*\*\*

На суде, в раю или в аду  
скажет он, когда придут истцы:  
«Я любил двух женщин как одну,  
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно...  
Не дослушивая ответ,  
он двустворчатое окно  
застегнет на черный шпингалет.



\*\*\*

Теряю свою независимость,  
поступки мои, верней, видимость  
поступков моих и суждений,  
уже ощущают уздечку,  
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,  
путь прежний мешает походке,  
как будто магнитная залежь  
притягивает подковки!  
Безволие какое-то, жалость...  
Куда б ни позвали — пожалуйста,  
как набережные коготки.

Какое-то разноголосье,  
лишившееся дирижера,  
в душе моей стонет и просит,  
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,  
искусства не заменитель.  
Должны быть известными — книги,  
а сами вы незнамениты,  
чем мина скромнее и глуше,  
тем шире разряд динамита.

Должны быть бессмертными — души,  
а сами вы смертно-телесны,  
телевизионные уши  
не так уже интересны.

Должны быть бессмертными рукописи,  
а думать — кто купит? — бог упаси!

Хочу низложенья просторного  
всех черт, что приписаны публикой.  
Монархия первопрестольная  
в душе уступает республике.  
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества  
для демократичных забот —  
жестяной лопатой дворничьей  
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —  
ледок на крылечке оббить,  
чтоб шли обогреться с морозца  
и исповеди испить.

**Свет вчерашний**

Все хорошо пока что.  
Лишь беспокоит немного  
ламповый, непогашенный  
свет посреди дневного.

Будто свидетель лишний  
или двойник дурного —  
жалостный, электрический  
свет посреди дневного.

Сердце не потому ли  
счастливо, но в печали?  
Так они и уснули.  
Света не выключали.

Проволочкой накалившейся  
тем еще безутешней,  
слабый и электрический,  
с вечера похудевший.

Вроде и нет в наличии,  
но что-то тебе мешает.  
Жалостный электрический  
к белому примешался.

Ты поставила лучшие годы,  
я — талант.  
Нас с тобой секунданты угодливо  
развели. Ты — лихой дуэлянт!

Получив твою меткую ярость,  
пошатнусь и скажу как актер,  
что я с бабами не стреляюсь,  
из-за бабы — другой разговор.

Из-за Той, что вбегала в июле,  
что возлюбленной называл,  
что сейчас соловьиною пулей  
убиваешь во мне наповал!

## Порнография духа

Отплясывает при народе  
с поклонником голым подруга.  
Ликуй, порнография плоти!  
Но есть порнография духа.

Докладчик порой на лектории,  
в искусстве силен как стряпуха,  
раскроет на аудитории  
свою порнографию духа.

В Пикассо ему все не ясно,  
Стравинский — безнравственность слуха.  
Такого бы постеснялась  
любая парижская шлюха.

Когда танцовщицу раздели,  
стыжусь за пославших ее.  
Когда мой брат по панели,  
стыжусь за него самое.

Подпольные миллионеры,  
когда твоей родине худо,  
являют в брильянтах и нерпах  
свою порнографию духа.

Когда на собрании в зале  
неверного судят супруга,  
желая интимных деталей,  
ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!  
Как часто мы с вами пытаемся  
взглянуть при общественном свете,  
когда и двоим — это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б...  
Но в скважине голый глаз  
значительно непристойнее  
того, что он видит у вас...

Клеймите стриптизы экранные,  
венерам закутайте брюхо,  
Но все-таки дух — это главное.  
Долой порнографию духа!

**Спальные ангелы**

Огни Медыни?  
А может, Волги?  
Стакан на ощупь.  
Спят молодые  
на нижней полке  
в вагоне общем.

На верхней полке  
не спит подросток.  
С ним это будет.  
Напротив мать его  
кусает простынь.  
Но не осудит.

Командировочный  
забился в угол,  
не спит с Усури.  
О чем он думает  
под шепот в ухо?  
Они уснули.

Огням качаться,  
не спать родителям,  
не спать соседям.  
Какое счастье  
в словах спасительных:  
«Давай уедем!»

Да хранят их  
ангелы спальные,  
качав и плакав, —  
на полках спаренных,  
как крылья первых  
аэропланов.

Опали берега осенние.  
Не заплывайте. Это омут.  
А летом озеро — спасение  
тем, кто тоскуют или тонут.

А летом берега целебные,  
как будто шина, надуваются  
ольховым светом и серебряным  
и тихо в берегах качаются.

Наверно, это микроклимат.  
Услышишь, скрипнула калитка  
или колодец журавлиный —  
все ожидаешь, что окликнут.

Я здесь и сам живу для отзыва.  
И снова сердце разрывается —  
дубовый лист, прилипший к озеру,  
напоминает Страдивариуса.



**Обстановка**

Это мой теневой кабинет.  
Пока нет:  
гардероба  
и полн. собр. соч. Кальдерона.  
Его Величество Александрийский буфет  
правит мною в рассрочку несколько лет.  
Вот кресло-катапульта  
времен борьбы против культа.  
Тень от предстоящей иконы:  
«Кинозвезда, пожирающая дракона».  
Обещал подарить Солоухин.  
По слухам,  
VI век.  
Феофан Грек,  
Стол. «Кент».  
На столе ответ на анкету:  
«Предпочитаю «Беломор» «Кенту».

Вот жены акварельный портрет.  
Обн. натура.  
Персидская миниатюра.  
III век. Эмали лиловой.  
Сама, вероятно, в столовой...

Вот моя тeneвая столовая —  
смотрите, какая здоровая!  
На обед  
все, чего нет  
(след. перечисление ед).

Тень бабушки — салфетка узорная,  
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.  
Осторожно, деда уронишь!  
Пианино. «Рёниш».  
Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.  
Одна клавиша полуутоплена,  
еще теплая.

(Бьет.) Ой, нота какая печальная!  
Сама, вероятно, в спальне.  
Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»  
«Проходя через пороги,  
предварительно вытирайте ноги.  
Потолки новые —  
предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.  
Ой, как развалено...  
Хорошо, что жены нет.  
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет  
+14 созданий  
с площади Испании.

Уголок забытых вещей!  
№ 2-й,  
№ 3-й,  
№ 8-й — никто не признается чей!  
А вот жена брошка.  
И платье брошено...  
наверное, опять побегла к Аэродрому  
за димедролом...  
Актриса, но тем не менее!  
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,  
кот поднимал загнутый хвост,  
его в рассеянности Гость,  
к несчастью, принимал за трость.)  
Вот ванная.  
Что-то странное!

Свет под дверь. Заперто изнутри.  
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!  
Вот так всегда.  
Слышите, переливается на пол вода.  
(Стучит.) Нет ответа.

(От страшной догадки он делается  
неузнаваем.)

О нет, только не это!..

Ломаем!

Она ведь вчера говорила —

«Если не придешь домой...»

Милая! Что ты натворила!

(Дверь высаживают.)

Боже мой!..

Никого. Только зеркало запотелое.

Перелитая ванна полна пустой глубины.

Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:

«А зачем мне вытираться,

вылетая в вентиляцию?!»

## Украли!

Нападающего выкрали!  
Тени плоские, как выкройки.  
Мчится по ночной Москве  
тело славное в мешке.

До свидания, соколики!  
В мешковине, далека,  
золотой своей наколочкой  
удаляется Москва...

Перекрыты магистрали,  
перехвачен лидер ралли.  
И радирует радар:  
«В поле зрения вратарь».

Двое штатских, ставши в струнку,  
похвалялись, наподдавшие:  
«Ты кого?» — «Я — Главконструктора».  
«Ерунда! Я — нападающего!»

«Продается центр защиты  
и две штуки незасчитанные!»  
«Я — как братья Эспозито.  
Не играю за спасибо!»

«Народился в Магадане  
феномен с тремя ногами,  
ноги крепят к голове  
по системе «дубль-ве».  
«Прикуплю игру на кубок,

только честно, без покупок».  
Умыкнули балерину.  
А певица на мели —  
утянули пелерину,  
а саму не увели.

На суде судье судья  
отвечает: «Свистнул я.  
С центра поля, в честном споре  
нападающего сперли».

Центр сперт, край сперт,—  
спорт, спорт, спорт, спорт...

А в подлунном странном мире,  
погруженный в дефицит,  
в пятикомнатной квартире  
нападающий не спит:

...«Отомкните бомбардира!  
Не нужна ему квартира.  
Убегу!  
Мои ноженьки украли,  
знаменитые по краю,  
я — в соку,  
я все ноченьки без крали,  
синим пламенем сгораю,  
убегу!»

«Убегу!» Как Жанна д'Арк он, —  
ни гугу!  
Не притронулся к подаркам,  
к коньяку.

«Убегу» — лицо как кукиш,  
за паркет его не купишь.  
«Когда крали, говорили —  
«Волга». М-24...»

Тень сверкнула на углу.  
Ночь такая — очи выколи.  
Мою лучшую строку,  
нападающую — выкрали...

Ни гугу.

## Отцу

Я — памятник отцу, Андрею Николаевичу.  
Юдоль его отмщу.

Счета его оплачиваю.

Врагов его казню.

Они с детьми своими

по тыще раз на дню

его повторят имя.

От Волги по Юкон

пусть будет знаменито,

как, цокнув языком,

любил он землянику.

Он для меня как Бог.

По своему подобию

слепил меня, как мог,

и дал свои надбровья.

Он жил мужским трудом,

в свет превращая воду,

считая, что притом

хлеб будет и свобода.

Я памятник отцу,

Андрею Николаевичу,

сам в форме отточу,

сам рядом вброю лавочку.

Чтоб кто-то век спустя

с сиренью индевеющей

нашел плиту «6 а»

на старом Новодевичьем.

Согбенная юдоль.

Угрюмое свечение.

Забвенною водой

набух костюм вечерний.

В душе открылась течь.

И утешаться нечем.





\*\*\*

С иными мирами связывая,  
глядят глазами отцов  
дети —  
    широкоглазые  
перископы мертвецов.

\*\*\*

Итальянка с миною «подумаешь!»  
Черт нас познакомил или Бог?  
Шрамики у пальцев на подушечках,  
скользкие как шелковый шнурок.

Детство обмороженное в Альпах.  
Снегопад, всемирный снегопад...  
Той войной надрезанные пальцы  
на всемирных клавишах кричат.

Жизнь начни по новой с середины!  
Усмехнется счастье впереди.  
И когда прощаешься с мужчиной,  
за спину ладони заведи.

Сквозь его подмышки нежно, робко,  
белые, как крылья ангелат —  
за спиной ссутуленной Европы —  
раненые пальчики болят.

\*\*\*

Неужто это будет все забыто —  
как свет за Апеннинами погас:  
людские государства и события,  
и божество, что пело в нас,  
и нежный шрамик от аппендицита  
из черточки и точек с боков —  
как знак процента жизни ненасытной,  
небытия невнятных языков?..

**Апельсины, апельсины...**

Самого его на бомбе подорвали —  
вечный мальчик, террорист, миллионер...  
Как доверчиво усы его свисали,  
точно гусеница-землемер!

Его имя раньше женщина носила.  
И ей русский вместо лозунга «люблю»  
расстелил четыре тыщи апельсинов,  
словно огненный булыжник на полу.

И она глазами темными косила.  
Отражались и отплясывали в ней  
апельсины, апельсины, апельсины,  
словно бешеные яблоки коней!..

Рушится уклад семьи спартанской.  
Трещат свечи. Пахнет кожа.  
Чувство раскрывается спонтанно,  
как у постового кобура.

Как смешались в апельсинном дыме  
к нему ревность и к тебе любовь!  
В чудное мгновенье молодые  
жены превращаются во вдов.

Апельсины, апельсины, апельсины...  
На меня, едва я захмелел,  
наезжают его черные усищи,  
словно гусеница-землемер.

**Мелодия Кирилла и Мефодия**

Есть лирика великая —  
кириллица!  
Как крик у Шостаковича — «три лилии!» —  
белеет «Ш» в клавиатуре Гилельса —  
кириллица!  
И фырчет «Ф», похожее на филина.  
Забьет крылами «у» горизонтальное —  
и утки унесутся за Онтарио.

В латынь — латунь органная откликнулась,  
а хоровые клиросы —  
в кириллицу!

«Б» вдаль из-под ладони загляделася —  
как Богоматерь, ждущая младенца.

## Монолог актера

Провала прошу, провала.  
Гаси ж!  
Чтоб публика бушевала  
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной  
меня перематюгав,  
зареванная премьерша  
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.  
Пусть в рожу бы мне исторг  
все сгнившие помидоры  
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!  
Мне из ночных глубин  
открылось — что вам не малчило.  
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,  
пустой и притихший весь,  
люблю тоскою аортовой  
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.  
Мы — гости,  
где хлеб и то не у всех,  
когда земле твоей горестно,  
позорно иметь успех.

Вы счастливы ль, тридцатилетняя,  
в четвертом ряду скорбя?  
Все беды, как артиллерию,  
я вызову на себя.

Провала прошу, аварии.  
Будьте ко мне добры.  
И пусть со мною провалятся  
все беды в тартарары.

**Колокола**





### Первое посвящение

Колокола, гудошники...  
Звон. Звон.

Вам,  
художники  
всех времен!

Сам,  
Микеланджело,  
Барма, Дант!  
Вас молнией заживо  
испепелял талант.

Ваш молот не колонны  
и статуи тесал —  
сбивал со лбов короны  
и троны сотрясал.

Художник первородный  
всегда трибун.  
В нем дух переворота  
и вечно — бунт.

Вас в стены муровали.  
Сжигали на кострах.  
Монахи муравьями  
плясали на костях.

Кровавые мозоли.  
Зола и пот.  
И музу, точно Зою,  
вели на эшафот.

Но нет противоядия  
ее святым словам —  
воители,  
ваятели,  
слава вам!

### Второе посвящение

Москва бурлит, как варево,  
под колокольный звон...

Вам,  
варвары  
всех времен!

Империю и кассы  
страхую от огня,  
вы видели в Пегасе  
троянского коня.

Ваш враг — резец и кельма.  
И выжженные очи,  
как  
клейма,  
горели среди ночи.

Вас мое слово судит.  
Да будет — срам,  
да  
будет  
проклятье вам!

### I

Жил-был царь.  
У царя был двор.  
На дворе был кол.  
На колу не мочало —  
человека мотало!

Хвор царь, хром царь,  
а у самых хором ходит вор и бунтарь.  
Не туга мошна,  
да рука мощна!

Он деревни мутит.  
Он царевне свистит.

И ударил жезлом  
и велел государь,  
чтоб на площади главной  
из цветных терракот  
храм стоял семиглавый —  
семиглавый дракон.

Чтоб царя сторожил.  
Чтоб народ страшил.

## II

Их было смелых — семеро,  
их было сильных — семеро,  
наверно, с моря синего  
или откуда с севера,

где Ладога, луга,  
где радуга-дуга.

Они ложили кладку  
вдоль белых берегов,  
чтоб взвились, точно радуга,  
семь разных городов.

Как флаги корабельные,  
как песни коробейные.

Один — червонный, башенный,  
разбойный, бесшабашный.  
Другой — чтобы, как девица,  
был белогруд, высок.  
А третий — точно деревце,  
зеленый городок!

Узорные, кирпичные,  
цветите по холмам...  
Их привели опричники,  
чтобы построить храм.

## III

Кудри — стружки,  
руки — на рубанки.  
Яростные, русские,  
красные рубахи.

Очи — ой, отчаянны!  
При подобной силе —  
как бы вы нечаянно  
царство не спалили!..

Бросьте, дети бисовы,  
кельмы и резцы.  
Не мечите бисером  
изразцы.

## IV

Не памяти юродивой  
вы возводили храм,  
а богу плодородия,  
его земным дарам.

Здесь купола — кокосы,  
и тыквы — купола.  
И бирюза кокошников  
окошки оплела.

Сквозь кожуру мишурную  
глядело с завитков,  
что чудилось Мичурину  
шестнадцатых веков.

Диковины кочанные,  
их буйные листы,  
кочевников колчаны  
и кочетов хвосты.

И башенки буравами  
взвивались по бокам,  
и купола булавами  
грозили облакам!

И москвичи молились  
столь дерзкому труду —  
арбузу и маису  
в чудовищном саду.

## V

Взглянув на главы-шлемы,  
бойрин рек:  
— У, шельмы,  
в бараний рог!  
Сплошные перламутры —  
сойдешь с ума.  
Уж больно баламутны  
их сурик и сурьма...  
Купец галантный,  
куль голландский,  
шипел: — Ишь надругательство,  
хула и украшательство.  
Нашел уж царь работничков —  
смутьянов и разбойничков!  
У них не кисти,  
а кистени,  
семь городов, антихристы,  
задумали они.  
Им наша жизнь — кабальная,  
им Русь — не мать!

...А младший у кабатчика  
все похвалялся, тать,  
как в ночь перед заутреней,  
охальник и бахвал,  
царевне  
целомудренной  
он груди целовал...

И дьяки присные,  
как крысы по углам,  
в ладони прыснули:  
— Не храм, а срам!..

...А храм пылал в полнеба,  
как лозунг к мятежам,

как пламя гнева —  
крамольный храм!

От страха дьякон пятился,  
в сундук купчина прятался.  
А немец, как козел,  
скакал, задрав камзол.  
Уж как ты зол,  
храм антихристовый!..

А мужик стоял да подсвистывал,  
все посвистывал, да поглядывал,  
да топор  
рукой все поглаживал...

## VI

Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий  
лай.

Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей,  
гуляй!  
Гуляй!  
Девкам юбки заголяй!

Эх, на синих, на глазурных да на огненных  
санях...

Купола горят глазуньями на распахнутых  
снегах,  
Ах! —  
Только губы на губах!

Мимо ярмарок, где ярки яйца, кружки, караси.  
По соборной, по собольей, по оборванной  
Руси —  
эх, оси —  
только ноги уноси!

Завтра новый день рабочий грянет в тысячу  
ладов.

Ой вы, плотнички, пилите тес для новых  
городов.  
Го-ро-дов?  
Может, лучше — для гробов?..

## VII

Тюремные стены.  
И нем рассвет.  
А где поэма?  
Поэмы нет.

Была в семь глав она —  
как храм в семь глав.  
А нынче безгласна —  
как лик без глаз.

Она у плахи.  
Стоит в ночи.  
.....  
И руки о рубахи  
отерли палачи.

**Реквием**

Вам сваи не бить, не гулять по лугам.  
Не быть, не быть, не быть городам!

Узорчатым башням в тумане не плыть.  
Ни солнцу, ни пашням, ни соснам — не быть!

Ни белым, ни синим — не быть, не бывать.  
И выйдет насильник губить-убивать.

И женщины будут в оврагах рожать,  
и кони без всадников — мчаться и ржать.

Сквозь белый фундамент трава прорастет.  
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.

Растерзанным бабам на площади выть.  
Ни белым, ни синим, ни прочим — не быть!  
Ни в снах, ни воочию — нигде, никогда...  
Врете,  
сволочи,  
будут города!

Над ширью вселенской  
в лесах золотых  
я,



Вознесенский,  
воздвигну их!

Я — парень с Калужской,  
я лвно не промах.  
В фуфайке колючей,  
с хрустящим дипломом.

Я той же артели,  
что семь мастеров.  
Бушуйте в артериях,  
двадцать веков!

Я со скамьи студенческой  
мечтаю, чтобы зданья  
ракетой  
стоступенчатой  
взвивались  
в мирозданье!

И завтра ночью блядскою  
в 0.45  
я еду Братскую  
осуществлять!

...А вслед мне из ночи  
окон и бойниц  
уставились очи  
безглазых глазниц.

Тетрадь, найденная в тумбочке дубненской гостиницы

\* \* \*

Аве, Оза. Ночь или жилье,  
псы ли воют, слизывая слезы,  
слушаю дыхание Твое.  
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,  
разве знал я, циник и паяц,  
что любовь — великая болянь?  
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?  
Но страшнее — если кто-то возле.  
Черт тебя сподобил красотой!  
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,  
умоляю — бережнее с нею.  
Дай тебе не ведать потрясений.  
Аве, Оза...

Противоположности светло.  
Дай возьму всю боль твою и горечь.  
У магнита я — печальный полюс,  
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.  
Я тебя не огорчу собою.  
Даже смертью не обеспокою.  
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза...

## I

Женщина стоит у циклотрона —  
стройно,

не отстегнув браслетки,  
вся изменяясь смутно,  
с нами она — и нет ее,  
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,  
так за нее мне боязно!  
Поздно ведь будет, поздно!  
Рядышком с кадыками  
циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,  
как радуги из светящихся пылинок  
или фразы из букв.  
Стоит изменить порядок, и наш  
смысл меняется.  
Говорили ей, — не ходи в зону!  
А она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»  
Но она не слышит. Она ничего не понимает.

**Может, ее называют Оза?**

## II

Не узнаю окружающего.

Вещи остались теми же, но частицы их, мигая,  
изменяли очертания, как лампочки иллю-  
минации на Центральном телеграфе.  
Связи остались, но направление их изменилось.

Мужчина стоял на весах. Его вес оставался тем  
же. И нос был на месте, только вставлен  
внутрь, точно полый чехол кинжала.  
Неумещающийся кончик торчал из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые озера, зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины. Из трех облачков шел дождь. Они были похожи на пластмассовые гребенки с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх.)

Ну и рокировка! На место ладьи гонуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки. Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие Батыя.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили профилактику. Их разбирали и собирали. Выходили обновленными. У одного ухо было привинчено ко лбу с дырочкой посредине вроде зеркала отоларинголога. «Счастливчик, — утешали его. — Удобно для замочной скважины! И видно и слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу. «Сердце забыли положить, сердце!» Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как правый ящик письменного стола, вложил что-то и захлопнул обратно.

Экспериментщик Ё пел, пританцовывал. «Е9 — Д4, — бормотал экспериментщик. — О, таинство творчества! От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия? Будут

роботы. Психика — это комбинация аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы... Конечно, придется спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но за то вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум собрания сохранял полный порядок. 16 его членов сияли, как яйца в аппарате для просвечивания лиц. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги подобно трубам перископа. Но этого никто не замечал.

Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новым победам!» — призывал докладчик. Все соглашались. Но где перед?

Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новым победам!») торчала вверх на манер десяти минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.

Никто ничего не замечал.

**НИКТО**

Над всем этим, как апокалипсический знак,

горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!»  
Но кнопки были воткнуты острием вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над,  
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

Может, ее называют Оза?

III

Ты мне снишься под утро,  
как ты, милал, снишься!..

Почему-то под дулами,  
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,  
хороша до озноба,  
вся твоя маскировка —  
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны  
наведенным патроном,  
30 метров озона —  
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,  
где полет безутешен,  
но пахнуло полетом,  
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи, крыльев  
не для славы красивой —  
чтобы только прикрыть ее  
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется  
этой дуре рискованной,

хоть секунду — раскованно.  
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье  
в доме с умным сынишкой.  
Наяву ли сейчас ты?  
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,  
в шумном счастье заверчена,  
до утра? поутру ли? —  
за секунду от пули.

#### IV

А может, милый друг, мы впрямь  
сентиментальны?  
И душу удалят, как вредные миндалины?  
Ужели и хорей, серебряный флейтист,  
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?  
Аминь?  
Но почему ж тогда, заполнив Лужники,  
мы тянемся к стихам, как к травам от цинги?  
И радостно и робко в нас души расцветают...  
Роботы,  
роботы,  
роботы  
речь мою прерывают.

Толпами автоматы  
топают к автоматам,  
сунут жетон оплаты,  
вытянут сок томатный,

некогда думать, некогда,  
в офисы — как вагонетки,  
есть только брутто, нетто —  
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:  
к нему забежала горничная...  
Утром вздохнула горестно, —  
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?  
Провинциалочка некал!  
Сказки хотелось, песни?  
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится  
пойманной партизанкою?  
Сердце, вам безработица.  
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,  
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.  
Обратно — от финиша к старту задним  
ходом неслись мотоциклисты.  
Бабабы на глазах, худея, превращались  
в прутики саженцев — обратно!  
Пуля, вылетев из сердца Маяковского,  
пролетев прожженную дырочку на рубашке,  
юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот,  
свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...

V

А не махнуть ли на море?

VI

В час отлива возле чайной  
я лежал в ночи печальной,  
говорил друзьям об Озе и величье бытия,  
но внезапно черный ворон



примешался к разговорам,  
вспыхнув синими очами,  
он сказал: «А на фига?!»

Я вскричал: «Мне жаль вас, птица,  
человеком вам родиться б,  
счастье высшее трудиться,  
полпланеты раскроя...»  
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,  
бог машин, экспериментов,  
будешь бронзой монументов  
знаменит во все края...»  
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,  
ты настроишь агрегатов,  
демократией заменишь  
короля и холоя...»  
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь  
спать в заброшенной избушке,  
утром пальчики девичьи  
будут класть на губы вишни,  
глушь такая, что не слышна  
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,  
раб стандарта, царь природы,  
ты свободен без свободы,  
ты летишь в автомашине,  
но машина — без руля...»

Оза, Роза ли, стервоза —  
как скучны метаморфозы,  
в ящик рано или поздно...  
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,  
что живем не чтоб подохнуть, —  
чтоб губами тронуть чудо  
поцелуя и ручья!

Чудо жить — необъяснимо.  
Кто не жил — что спорить с ними?!..

Можно бы — да на фига?

## VII

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после гимнастики. И неважно, как тебя зовут. Ты и не слышала о циклотроне.

Кто-то сдуру воткнул на приморской набережной два ртутных фонаря. Мы идем навстречу. Ты от одного, я от другого. Два света бьют нам в спину. И прежде, чем встречаются наши руки, сливаются наши тени — живые, теплые, окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь навстречу!  
Затылок людей всегда смотрит в прошлое. За нами, как очередь на троллейбус, стоит время. У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из тебя в меня переходит будущее, а в тебя — прошлое, будто мы песочные часы.  
Как ты страдаешь от пережитков будущего!  
Ты резка, искренна. Ты поразительно невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был выдающийся государственный деятель». Ты отвечаешь: «Посмотрим!»  
Зато будущее для тебя достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты.  
 У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор  
 у тебя из левой туфельки не вытряхнулась  
 сухая хвойная иголка.  
 Твои туфли остроносые — такие уже не  
 носят. «Еще не носят», — смеешься ты.  
 Я пытаюсь заслонить собой прошлое, чтобы ты  
 никогда не разглядела майданеков и инквизиции.  
 Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься подладиться ко мне.  
 Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то  
 ерзаешь. «Ну, что ты?»  
 Освобождаясь, ты, довольная, выпаливаешь,  
 как на иностранном языке: «Я получила  
 большое эстетическое удовольствие!  
 А раньше я тебя боялась... А о чем ты  
 думаешь?..»

Может, ее называют Оза?

## VIII

Выйду ли к парку, в море ль плыву —  
 туфелек пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,  
 их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,  
 вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,  
 вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.  
 Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфелек пара,  
 будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.  
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?

...В мире металла, на черной планете,  
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —  
нежные туфельки в форме скорлупки!  
.....

## IX

Друг белокурый, что я натворил!  
Тебя не опечалят строки эти?

Предполагая  
подарить бессмертье,  
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,  
какой кретин скатился до приказа:  
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!  
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?  
Что наша жизнь?  
Взаимопревращенье.  
Бессмертье ж — прекращенное движенье,  
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.  
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...  
И каждый может, гогоча и тыча,  
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,  
какая грусть — увидеться в толкучке,  
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,  
касается тебя — какал боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.  
Ну, а в душе кровавые мозоли?

Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,  
жуует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...  
Но кровь к вискам бросается, задохшись,  
когда живой, как бабочка в ладошке,  
из телефона бьется голосок...

### От автора и кое-что другое

Люблю я Дубну. Там мои друзья.  
Березы там растут сквозь тротуары.  
И так же независимы и талы  
чудесных обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.  
И, может, потому не дам я дуба —  
мою судьбу оберегает Дубна,  
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.  
Там я нашел в гостинице дневник.

Не к первому попала мне тетрадь:  
ее командировщики листали,  
острили на полях ее устало  
и засыпали, силясь разобрать.

Вот чей-то почерк; «Автор-абстрактив!»  
А снизу красным: «Сам туда катись!»

«Может, автор сам из тех, кто  
тешит публику подтекстом?»  
«Брось искать подтекст, задрыга!  
Ты смотришь в книгу —  
видишь фигу».

Оставим эти мудрости, дневник.  
Хватает комментариев без них.

\* \* \*

...А дальше запись лекций начиналась, мир цифр и чей-то профиль машинальный. Здесь реализмом трудно потрястись — не Репин был наш бедный портретист. А после были вырваны листы.

Наверно, мой упившийся предшественник, где про любовь рванул, что посущественней... А следующей фразой было:

ТЫ

Х

ТЫ сегодня, 16-го, справляешь день рождения в ресторане «Берлин». Зеркало там на потолке. Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечками.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно. У одного лысина была маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами. У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали три мысли (две черные и одна светлая — незрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в копилках. Затылок брюнетки с приключенным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха по потолку. Лиц не было видно. Зато перед каждым, как таблички перед экспонатами, лежали бумажки, где кто сидит. И только одна тарелка была белая, как пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки  
пустое место?»

«Министра, может, ждут?» «А может,  
помер кто?»

Никто не знал, что там сижу я. Я невидим.  
Изящные денди, подходящие тебя поздравить,  
спотыкаются об меня, царапают вилками.  
Ты сидишь рядом, но ты восторженно  
чужая, как подарок в целлофане.

Модного поэта просят: «Ах, рваните чего-то  
этакого! Поближе к жизни, не от мира сего...  
чтобы модерново...»

Поэт подымается (вернее, опускается,  
как спускают трап с вертолета). Голос его  
странен, как бы антимирен ему.

### Молитва

*Мать Владимирская, единственная,  
первой молитвой — молитвой последнею —  
я умоляю —  
стань нашей посредницей.  
Неумолимы зрачки Ее льдистые.*

*Я не кощунствую — просто нет силы.  
Жизнь заberi и успехи минутные,  
наихрустальнейший голос в России —  
мне ни к чему это!*

*Видишь — лежу — почернел как кикимора.  
Все безысходно...  
Осталось одно лишь —  
грозись ей в ноги,  
Мать Владимирская,  
может, умолишь, может, умолишь...*

Читая, он запрокидывает лицо. И на его  
белом лице, как на тарелке, горел нос,  
точно болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья:

— *Заонежье. Тает теплоход.  
Дай мне погрузиться в твое озеро.  
До сих пор вся жизнь моя —  
Предозье.  
Не дай бог — в Заозье занесет...*

Все замолкают.  
Слово берет тамада Ъ.  
Он раскачивается вниз головой, как длинный маятник. «Тост за новорожденную». Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.) Как это все напоминает что-то!

И под этим подвешенным миром внизу расположился второй, наоборотный, со своим поэтом, со своим тамадой Ъ. Они едва не касаются затылками друг друга, симметричные, как песочные часы. Но что это? Где я? В каком идиотском измерении? Что это за потолочно-зеркальная реальность? Что за наоборотная страна?! Ты-то как попала сюда? Еще мгновение, и все сорвется вниз, вдребезги, как капли с карниза!

Задумавшись, я машинально глотаю бутерброд с кетовой икрой. Но почему висящий напротив, как окорок, периферийный классик с ужасом смотрит на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,



а бутерброд реален! Он передвигается  
по мне, как красный джемпер в лифте.

Классик что-то шепчет соседу.  
Слух моментально пронизывает головы,  
как бусы на нитке.  
Красные змеи языков ввинчиваются в уши  
соседей. Все глядят на бутерброд.  
«А нас килькой кормят!» — вопит классик.  
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат  
меня, кто же выручит тебя: кто же  
разобьет зеркало?!

Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь  
на красную дорожку пола. Рядом со мной,  
за стулом, стоит пара туфелек. Они, видимо,  
жмут кому-то. Левая припала к правой.  
(Как все напоминает что-то!)  
Тебя просят спеть...

Начинаются танцы. Первая пара с хрустом  
проносится по мне. Подошвы! Подошвы!  
Почему все ботинки с подковами?  
Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам.  
Чьи-то каблучки, подобно швейной  
машинке, прошивают мне кожу на лице.  
Только бы не в глаза!..  
Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все.  
Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!  
«Так как же зовут новорожденную?» —  
надрывается тамада.  
«Зоя! — ору я. — Зоя!»

А может, ее называют Оза?

## XI

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа.  
Разбегаются наши тропы.  
Стоит им пойти стороною,  
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,  
помнишь Дубну, и ты играешь.  
Оборачиваешься от клавиш.  
И лицо твое опустело.  
Что-то в нем приостановилось  
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,  
горизонт мне являл немилость.  
Изменяли друзья злорадно.  
Только ты не переменилась.

Зоя, помнишь, пора иная?  
Зал, взбесившийся как свинарня...  
Если жив я назло всем слухам,  
в том вина твой иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,  
я, как в воду, нырял под Ригу,  
сквозь соломинку белокурую  
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют.  
а сближают, как провода,  
непростительнее, когда  
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,  
то на черта мне жизнь без боли?  
Или, может, беда блуждает  
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.  
Что б ни выпало претерпеть,  
для меня важнейшее самое —  
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?  
И из лет  
очертанья, что были нами,  
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее  
нам пора... Вернемся к поэме.

## XII

Экспериментщик, чертова перечница,  
изобрел агрегат ядерный.  
Не выдерживаю соперничества.  
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада  
программированного зверья.  
Будь я проклят за то, что я  
слыл поэтом твоих распадков!

Мир — не хлам для аукциона.  
Я — Андрей, а не имя рек.  
Все прогрессы —  
реакционны,  
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,  
механическим соловейчиком!  
В жизни главное человечность —  
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.  
Горло саднит от тех словес.  
Я им голос придал и душу,  
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,  
спросит женщина тех времен:  
«В третьем томике Вознесенского  
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,  
отпугали, как тарантас.  
Смертны техники и державы,  
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,  
словно свет звезды, что ушла, —

продолжающееся сияние,  
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,  
и неважно в каком бору,  
важно жить, как леса хрустальные  
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник,  
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!  
Помню Дубну, снега с кострами.  
Были пальцы от лыж красны.  
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»  
Та, физик давняя?  
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,  
ты глядишь свежо и светло.  
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.  
Здравствуй, Оза!

### XIII

Прощай, дневник, двойник души чужой,  
забытый кем-то в дубненской гостинице.  
Но почему, виски руками стиснув,  
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.  
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.  
Чувовишна ответственность касаться  
чужою судьбы, тревог, галлюцинаций!  
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,  
придет хозяин на твой зов щенячий.

Я ничего в тебе не изменил,  
лишь только имя Зоей заменил.

#### XIV

На крыльце,  
очищая лыжи от снега, я поднял голову.

Шел самолет.  
И за ним  
на неизменном расстоянии  
летел отставший звук, прямоугольный,  
как прицеп на буксире.

## Пролог

Господи, помилуй наши суррогаты!  
С белого собора сорвали крест.  
Гуру урагана, гуру урагана  
сорок тыщ деревьев унес окрест.

Огорчен игумен эксгумацией Романовых.  
Восемь лет прождали последнюю постель.  
Гурии соблазна. Гунны балагана.  
Инаугурация измученных костей.

Женщину за лошадью тащат на аркане.  
Ты, Москва, заложница за чей-то грех!  
Что нам ураганы? — Сами уркаганы.  
Господи, помилуй невинных всех!

Душу потеряешь, спасая шкуру,  
Не учи смятенью, антагонист!  
Ангел заблудившийся, ослепший гуру,  
черный урагангел, угомонись!

На душе погано. Дьяволы в поддании  
Кремлю зубы выбили вокруг кургана.  
Где ж ты, белоснежный гуру благодати?  
Что ж не опровергнешь гуру урагана?

Милиционеры — антихулиганы.  
Что сейчас творится — неужто сглаз?  
Все запрограммировал Гуру Урагана.  
Черный урагангел, помилуй нас!

## I

Новорусское Новодевичье.  
Гробы встают стоймя.  
Несется скелет Царевича.  
Господь, помилуй меня!

Бегу забастовкой кладбища.  
Могилы свои зову.  
Проваливаюсь, как в клавиши,  
Отец, помилуй Москву!

Подземные наши предки  
бастующею толпой  
могилы, как вагонетки,  
толкают перед собой.

Неправедны наши «прайвит»,  
неправедно я живу,  
неправедно нами правят.  
Максуд, помилуй Москву.

Прости, забытая мать!  
Отец, помилуй меня!  
Но праведно ли ломать  
в отместку зубцы Кремля?

Ну, ладно б громить сановников...  
За что же Никулина?!  
Никулин пошел «на новенького».  
В могиле накурено.

Ангелы аварийные.  
Срывают с церкви кресты.  
Ваганьковские авиалинии  
бастуют.  
Небеса пусты.

Флоренский, игумен стачки,  
как тачку, могилу вез,  
согбен, как медведь из спячки,  
крестил разоренных ос.

Идея над Новодевичьем  
вопит, что в нас умерла.  
Деревья кричат в разделочной.  
Вандей, помилуй меня!

Все телеантенны в целости,  
поломаны лишь кресты.

**И свежестью сводит челюсти  
от рухнувшей красоты.**

**Лежат древесные люди,  
сплетя волоса, висят.  
Дрожат, как разбитые лютни,  
взметенные прутья оград.**

Дуб Емельян Тимофеевич  
(1783-+1998)  
Плющ Александр Сергеевич  
(1837-+1998)  
Тополь Виктор Платанович  
(1978-+1998)  
Ель Елена Владленовна  
(1978-+1998)  
Троицкая Береза Есенъевна  
(1963-+1998)  
Красная Калина Васильевна  
(1974-+1998)  
Чехова Ольга Штирлицевна  
(1945-+1998)  
Корень Лифарь Нуреевич  
(1968-+1998)  
Синица Бузина Зиновьевна  
(1981-+1998)  
Мария Липа (девичья фамилия —  
год рожд. 1972)  
Мэри Липтон (новодевичья фамилия —  
год рожд. 1979)  
Щепкина-Купер Верба Инберовна  
(1814-+1998)  
Берестов Валентин Археологович  
(863 до н/э -+1998)  
Соловей Зорий Тихонович  
(1942-+1998)  
Черемуха Алла Борисовна  
(1982- )  
Симонов Монастырь Рубенович  
(1765-+1998)



И тысячи без фамилий...  
Господь, прости и помилуй!

О СПИДе не знали там,  
в наивные времена.  
Господь, помилуй платан!  
Платан, помилуй меня!

Дерево родословное  
Легло поперек пути.  
Листы его, очи словно,  
кричали мне: «Пощади!»

За ним сплелись Лаокооны  
и группировки в розыске.  
Поэзия из флаконов  
разбитых разлита в воздухе.

Чей белый парик с косицей,  
как вырванный зуб коренной?  
Сказал: «Просрали Россию»,  
он, ставший ее землей.

## II

Новорусское Новодевичье.  
Оса хаоса, взяв захват,  
закружила спиралью девочку  
и ударила об асфальт!  
Что делается?! Боже свят!

Две спирали жужжат — смыкаются.  
Удалается в небеса  
оса хаоса, оса хаоса,  
обезумевшая оса!

Астраханской холеры казусы.  
И укусы внутри пошли.  
Залетевшая оса хаоса  
все не вылетит из души.

Кружит стружкой стволы и хаусы,  
точно чинит карандаши.

Лечит школьницу не Мюнхгаузен.  
 Чертыхается злая тварь —  
 оса хаоса, после паузы  
 возвращающаяся спираль.

### III

Новорусское Новодевичье  
 Надломленный в небе крестик.  
 Возмездие без уздечки  
 летит, как программа «Вести».  
 Запнулась Арина Шарапова  
 Потряс без «фанеры» нас  
 вернувшийся в нашу шарашку  
 шляпинский бас!

— Шалыпина — в президенты!  
 — Вербу — на трон!  
 — Раздета беспрецедентно...  
 — Веру не тронь!..  
 — Дуб — претендент конкретный.  
 — Ольху, его конкурентку, —  
 в огонь!

Смешна им идея денег.  
 Идет Вандей бессеребренников.  
 Деревьев грехопаденье  
 спонсирует Хлебников.

Корни восстали, суть!  
 В петлице с астрой цинизма —  
 повестка на Страшный суд.  
 Идея абстракционизма  
 овладевает массажи.  
 Спираль раскручивается.  
 Гонитель Неизвестного заказал ему памятник себе.  
 Неведомая сила периодически  
 отрезала памятнику голову, как Берлиозу.  
 Заседали.  
 Старик ловил интернетом Рыбкина.  
 — Чего тебе надобно, Стачка?  
 У Большого театра под фурой  
 поехала крыша.

Екатерина Алексеевна фурией  
протискивается сквозь гробовую крышку.

Кто кинул в меня, зеваку,  
надгробной доской?  
Я ж вам приносил «Живагу»...  
Помилуйте, Луговской!

Нежнейшее чье колено  
вылазит сквозь трещину?  
Помилуй Боже, Елена...  
Я знал эту женщину.

И каждый ее любовник  
за миг ее воскресить  
не только древо любое —  
весь мир готов погубить.

Кто добрый, как крот ослепший,  
с одышкой вышел на свет,  
вперед пропуская следующего —  
самоубийцу двадцати лет?

Помилуйте, Самуил Яковлевич,  
и юноша, как вьюнок!..  
Меж рухнувших наших ячеств  
жестяный мчался венок.

Асеев, Кокто расейский,  
ваш стон я не обойду —  
встает, не поняв в рассеянности,  
в раю он или в аду.

А эта, в балетках все-таки,  
водянистая, как голубика,  
соседка моя по высоте  
выглядывает из глубинки...

В бреду лейтенант метался —  
Господь, помилуй меня! —

пулеметом магометанина  
прошит, как дырки ремня.

Что шепчешь, афганец, с тоски?  
Земля от ракиты разрыта.  
Убитого звать Тараки —  
Таракитаракита р а к и т а...

\* \* \*

И крестик горизонтальный,  
как ключик, в небе торчит.  
Печаль его золотая  
поломана. Вход закрыт.

У двери души летают.  
И в воздухе тополь горчит.

#### IV

Новорусское Новодевичье.  
Куда Рубенсу и Вандейчику!  
Ватрушки жрет у ворот  
под «Фанту» отечественную  
живой и мертвый народ.

Нас внутрь не пускал детина.  
Охранник был без лица.  
Из пустоты щетина  
росла, как из мертвеца.

Загробная жизнь под угрозой.  
Воя, как «Цепелин»,  
взбесившиеся березы  
летали без сердцевин.

Мы — только капот от «мерса»  
с вынутыми цилиндрами.  
Не то что мы все без сердца,  
мы — люди без сердцевины.



Где вместо стволов провалы,  
как вверх ногами столы,  
разбуженные вставали  
человеческие стволы.

С росипками галогенными  
из ада встает и рай  
российская интеллигенция,  
мертвая и живая.

Бастующие рубили  
завалы, чинили лес.  
А может быть, это были  
солдаты из МЧС?

## VI

Новорусское Новодевичье.  
Купите в предрасудный год  
всамделишного Судейкика,  
не ведаю, что нас ждет?  
Не все же сбегут в сторонку,  
в Ванкувер и Теннесси!  
Помилуй, Господь, от Второго  
Пришествия, пронеси...

## Колокольный эпилог

Несемся в прошлое со страшной силой,  
но мысль единственная в мозгу —  
«Господь, помилуй, Господь, помилуй,  
от повторения спаси Москву!»

Кто под землю, но не в могиле,  
чья пенакормленная семья —  
его помилуй, ее помилуй,  
помилуй верившего меня.

Господь, помилуй собор-расстригу,  
где допустили сорвать кресты,

русскоязычную помилуй Ригу,  
ей звон малиновый возвести!

О чем все гении и мазилы? Помимо разницы  
в них суть одна —  
«Господь, помилуй, Господь, помилуй,  
Господь, помилуй меня».

И кантемиры, и мы, дебилы,  
и мандельштамовская оса:  
«Господь, помилуй, Господь, помилуй  
валаамового осла...»

Овца, клонируй меня,  
Герострат, кремируй меня,  
госналог, премируй меня,  
Господь, помилуй Газпром,

Господь, помилуй меня.

Конь Блед, примерь стремя!  
Азот, грозу распогодь.  
Мой бред, помилуй меня,  
в душе ураган, Господь!

Горсуд, помилуй истца,  
овца, клонируй Творца,  
гроза, не молнируй в дома,  
тишина, спланируй в меня.

Помилуй от урагана,  
где, как проклятье с губ,  
летит из Тархан тараном  
вывороченный с корнями  
лермонтовский дуб!

О чем разевает рот  
Памела Андерсон в снах?  
Золотая рыбка поет  
в панировочных сухарях.

— Соседу виллу испорть,  
пожар спланируй, Господь!  
Кому пришет сатана  
мотоциклетный эскорт?

Скучаем, «Pall Mall» дымя,  
Стал Брайтон-Бич русопят.  
Не Тот, говорят, распят...  
Луна, лорнируй распад.  
Господь, помилуй меня!

Туман наш горчит полынью.  
И, может, не все обман?  
Помилуй дитя Полину,  
родившуюся в ураган!

Мы красным вином с сулгуни  
отметим весть Рождества,  
чтоб здравствовала игуменья,  
чтоб здравствовала Москва!

*Помилуй,  
помилуй,  
пошли нас — по Мытной,  
по Минке,  
по минной,  
по мнимой Жасминной,  
как опера мыльной,  
по «миськам», как на Пасху,  
память — камень за пазухой,  
колокольный, именинный, —  
от Лукойла до Совмина,  
звон, компьютером  
переученный...*

*В Вознесенском переулочке,  
у памятника Чайковскому,  
подобному скрип-ключу,  
я Моцарта обучу  
с колоколами чокнуться!*



Мы — дети волшебной сказки,  
 где вместо колоколов  
 стучат, как шахтерские каски,  
 купола без крестов.

...по тминной,  
 по маленькой,  
     пей, да помалкивай,  
         салфеткой слезу промакивай,  
             целуй образок эмалевый,  
                 во благо, со всех силенок,  
                     двадцать пять тыщ «зеленых»  
         вымаливай...

Крест золотой над маковкой,  
 на глазах у программы «Вести»  
 рассыпался как щепоть....  
 Москву помилуй, Господь!

ГРЕХ ПЛАКАТЬ. ИЩУ ИНВЕСТОРА,  
 ЧТОБ К НЕБУ КРЕСТ  
                     ПРИКОЛОТЬ

Господь, помилуй земных кумиров,  
             кто лез без мыла в их маесту,  
 Господь, помилуй, Господь, помилуй,  
             верни их парочкой на мосту.

Шекспира МИДу бы, Талейрана...  
             Нет мира в Косове. Правам труба...  
 Секспирамида нетолерантна.  
             Я, ты, Господь — это амур труа.

Волосяницей душа запутана.  
             Монаху снится Маша Распутина.  
 Родные, милые! Я тут живу.  
 Господь, помилуй, Господь, помилуй,  
             Господь, помилуй, люблю Москву.

Помилуй, Боже, быть у кормила  
             и не оставить страну в живых.  
 Господь, помилуй, Господь, помилуй  
             Тобою созданных детей дурных.

Тусуйтесь с мымрой — свободой мнимой,  
в свободе миной лежит Чечня —  
Господь, помилуй вину невинных,  
помилуй, стало быть, и меня.

Храни поэтов от хмурой зависти,  
от нетерпенья быть на плаву.  
Помилуй завязи завтрашних зарослей  
и клен, оставшийся на Москву.

За то, что знал я Твои затрешины,  
умел с улыбкой удар держать,  
помилуй, Господи, мою женщину  
и в небе бабушку, отца и мать.

Что обелиски? Летим как искры  
по небу с Божьего помела.

Господь, помилуй  
потерять близких.  
Помилуй их потерять меня.

## VII

И только одна могила  
п р о с т и л а.  
Стихией пощажена.  
Цела. И тайной полна.

Так тихо, что не прольется  
хаосу вопреки  
бутыль «Святого колодца».  
В ней розочек лепестки.

Оса к ним ползет без паники.  
И вдруг это добрый знак?  
Прости, что достойным памятником  
не разражусь никак.

Прости, что бывал урывками.  
Чуток еще подожди.  
Страдальческую улыбку  
почти что смыли дожди.

За веру мою качнувшуюся,  
за грехи предсудного дня,  
за эти стихи кощунственные  
помилуй, мама, меня.

И крестик над Москвой горизонтальный  
от ветра бьется, держится едва,  
как на груди невидимой и тайной,  
что лежа дышит.

Стало быть, жива.



- Ночной аэропорт в Нью-Йорке – 75  
 Вступление – 78  
 Второе вступление – 80  
 Лобная баллада – 82  
 Тишины! – 84  
 Рок-н-ролл – 86  
 Монолог Мерлин Монро – 89  
 Футбольное – 92  
 Поют негры – 94  
 «Друг, не пой мне песню  
 про Сталина...» – 96  
 Стриптиз – 97  
 Нью-йоркская птица – 98  
 Напоили – 100  
 Флорентийские факелы – 102  
 «Нас много.  
 Нас может быть четверо...» – 104  
 Итальянский гараж – 106  
 Анtimiры – 108  
 Новый год в Риме – 109  
 Рублевское шоссе – 112  
 Прощание с Политтехническим – 113
- «Я сослан в себл...» – 117  
 Замерли – 118  
 Лень – 119  
 Конспиративная квартира – 120  
 Баллада-яблоня – 122  
 Охота на зайца – 124  
 Ночь – 127  
 Большая баллада – 128  
 Автопортрет – 130  
 «Сколько свинцового яда влило...» – 131  
 Записка Е. Яницкой,  
 бывшей машинистке Маяковского – 132  
 «Сирень похожа на Париж...» – 133  
 Париж без рифм – 134  
 «Я — семья...» – 138  
 Марше О Пюс.  
 Парижская толкучка древностей – 139  
 Олененок – 142  
 Ирена – 144  
 Старухи казино – 146  
 Поэт в Париже – 148  
 Муромский сруб – 150  
 Возвращение в Сигулду – 151  
 «Шарф мой, Париж мой...» – 154  
 «Жизнь моя кочевая...» – 155

## Ахиллесово сердце

- «Ну что тебе надо еще от меня?..» – 159  
    «Матери сиротеют...» – 160  
Плач по двум нерожденным поэмам – 161  
    Зов озера – 164  
    Стансы – 166  
«Ты пролетом в моих городках...» – 169  
    Бьет женщина – 170  
    Лейтенант Загорин – 172  
    Эскиз поэмы – 174  
«Прости меня, что говорю  
    при всех...» – 180  
    «Умирайте вовремя...» – 182  
Из ташкентского репортажа – 183  
    Киж-озеро – 186  
    Кемская легенда – 188  
Ахиллесово сердце – 189  
    Монолог биолога – 190  
    Шафер – 192  
    Слеги – 193  
    «Жадным взором василиска...» – 194  
    «Лист летящий, лист спешащий...» – 195  
    Стрела в стене – 196  
    Рождественские пляжки – 198  
        Ливы – 200  
        Рано – 201  
    Декабрьские пастбища – 202  
«Проснется он от темноты...» – 204
- Снег в октябре – 205  
Портрет Плисецкой – 206
- Тень звука
- «Слоняюсь под Новосибирском...» – 215  
Тоска – 217  
    Не пишется – 218  
«Нам, как аппендицит...» – 220  
«Графоманы Москвы...» – 223  
    Строки – 224  
    Осеннее вступление – 225  
    Роцца – 228  
    Диалог – 229  
    Морская песенка – 232  
    «В воротничке я...» – 234  
    Испытание болотохода – 235  
    Бой петухов – 238  
    Морозный ипподром – 240  
    Старая песня – 243  
Бар «Рыбарска хижка» – 244  
    Вальс при свечах – 246  
    Уже подснежники – 247  
        Языки – 249  
    Лодка на берегу – 251  
    Общий пляж № 2 – 252

## Выпусти птицу!

- «Наш берег песчаный и плоский...» — 254  
Горный монастырь — 255  
Кабанья охота — 256  
«На спинку божия коровка...» — 260  
«Да здравствуют прогулки  
в полвторого...» — 261  
«Память — это волки в поле...» — 262  
Время на ремонте — 263  
Художник Филонов — 266  
«Жил художник в нужде  
и гордыне...» — 268  
Неизвестный — рекем  
в двух шагах с эпилепсом — 269  
Грипп «Гонконг-69» — 272  
«Живу в сторожке одинокой...» — 275  
2 секунды 20 июня 1970 г.  
в замедленном дубле — 276  
Сан-Франциско — Коломенское... — 279  
«Сложи атлас, школярка шальная...» — 280  
Нью-йоркские значки — 282  
Июнь-68 — 284  
Улитки-домушницы — 285  
Ялтинская криминалистическая  
лаборатория — 286  
Скрытымным — 288  
Скупщик краденого — 289  
Молитва — 293  
«Суздальская Богоматерь...» — 294

- «Стихи не пишутся — случаются...» — 297  
Сначала — 298  
Песня шута — 300  
Васильки Шагала — 302  
Бобровый плач — 304  
«Не придумано истинней мига...» — 306  
«Не возвращайтесь  
к былым возлюбленным...» — 307  
Выпусти птицу! — 308  
У озера — 310  
Сон — 311  
Старая фотографии — 312  
«Ты молилась ли на ночь, берега?..» — 313  
НТР — 314  
Похороны  
Гоголя Николая Васильича — 316  
«В человеческом организме...» — 319  
Монолог читателя — 320  
Художник и модель — 322  
Новогднее платье — 323  
Художники обедают в парижском  
ресторане «Кус-кус» — 324  
«Тираны поэтов не понимают...» — 328  
Похороны Кирсанова — 329  
«Приди! Чтоб слова снег  
слепил...» — 330  
В непогоду — 331

Вечер в «Обществе слепых» – 332	Колокола
Говорит мама – 334	Поэмы
Ангты – 335	Мастера – 369
Легающий мужик – 336	Оза – 377
Лесник играет – 339	Гуру урагана – 397
Повесть – 340	
Королевская дочь – 341	
«На площади судят нас,	
трех воров...» – 342	
«На суде, в раю или в аду...» – 343	
«Теряю свою независимость...» – 344	
Свет вчерашний – 346	
«Ты поставила лучшие годы...» – 347	
Порнография духа – 348	
Спальные ангелы – 350	
Святязь – 351	
Обстановочка – 352	
Украли! – 355	
Отцу – 358	
«С иными мирами связывая...» – 360	
«Итальянка с миною	
«подумаешь!»...» – 361	
«Неужто это будет все забыто...» – 362	
Апельсины, апельсины... – 363	
Мелодия Кирилла и Мефодия – 364	
Монолог актера – 365	



**Андрей Андреевич Вознесенский**

## **ПЕРВЫЙ ЛЕД**

**Собрание сочинений в пяти томах. Том первый**

Редактор Е.В. Толкачева  
Художественный редактор Т.Н. Костерина  
Технолог С.С. Басипова  
Оператор компьютерной верстки И.В. Соколова  
П. корректоры В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

**Издательская лицензия № 065676 от 13 февраля 1998 года.**

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2:953 000 — книги, брошюры.  
Подписано в печать 20.10.2000. Формат 60 × 84/16.  
Гарнитура New StandardС. Печать офсетная. Объем 26 печ. л.  
Тираж 5000 экз. Изд. № 1540. Заказ № 357.

**Издательство «ВАГРИУС»**

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1  
E-mail — [vagrius@vagrius.com](mailto:vagrius@vagrius.com)  
Информация об издательстве в сети Интернет:  
<http://www.vagrius.com>; <http://www.vagrius.ru>

**Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской  
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском  
предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства  
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и  
средств массовых коммуникаций.  
113054, Москва, Валуевая, 28.**

**Оптовая торговля:**

Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36,6»  
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90  
E-mail: [club366@aha.ru](mailto:club366@aha.ru)

**Фирменный магазин «36,6 — Книжный двор»:**

Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93

**КОРФ «У Сытина»:**

Тел.: (095) 156-86-70. Факс: (095) 154-30-40  
E-mail: [syтин@aha.ru](mailto:syтин@aha.ru) или [shop@kvest.com](mailto:shop@kvest.com)

**Интернет-магазины:**

<http://www.kvest.com>; <http://www.24x7.ru>

**По вопросам оптовой покупки книг издательства АСТ обращаться по адресу:**

Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж  
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

ISBN 5-264-00548-6



9 785264 005480 >

